Михаил Любовин



Воспоминания донского казака




АРХИВ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ
БРЮССЕЛЬ


АРХИВ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ
БРЮССЕЛЬ

Михаил Любовин

Воспоминания донского казака



Москва — Брюссель

2014

ББК 84 (4Бел)
К 93

Любовин М.В.

Воспоминания донского казака. — Москва — Брюссель: Conférence Sainté Trinite du Patriarcate de Moscou, ASBL; Екатерининский мужской монастырь, 2014. — 224 с.: ил.

ISBN 978-5-904685-11-9

По благословению архиепископа Брюссельского и Бельгийского Симона Архив Русской Эмиграции продолжает публикацию своих материалов, связанных с российской историей и духовной традицией. Архив обладает всеми правами на публикуемые им материалы.

Донской казак Михаил Васильевич Любовин (1900–1995), уроженец станицы Константиновской, выпускник Новочеркасской военно-фельдшерской школы (1919), служил фельдшером в Добровольческой армии с 1917 года. В 1920 году он эвакуировался из Севастополя, в 1921–1924 годах проживал в Сербии, работал в больнице, в 1924–1927 годах жил во Франции, где учился на медицинском факультете Сорбонны. Получив диплом фельдшера, в 1927–1934 годах он работал по специальности в Конго, в 1938–1960 годах владел одной, затем двумя небольшими кофейными плантациями. В 1961 году после получения Демократической Республикой Конго независимости М.В. Любовин, потеряв своё имущество в Конго, переехал с семьёй в Бельгию, жил в Брюсселе, в 1961–1965 годах служил провизором в аптеке до выхода на пенсию. Свои мемуары он написал для сына Святослава (род. 1949), стремясь воспитать его в православной вере и традициях донского казачества. Рукопись и фотографии для книги представлены АРЭ С.М. Любовиным.

Мемуары М.В. Любовина отражают точку зрения широкого круга рядовых военнослужащих Белой армии и представляют несомненный интерес как для специалистов-историков, так и для широкого круга читателей в России и за рубежом.

Издание выпущено при поддержке Правительства Москвы.

ISBN 978-5-904685-11-9

Михаил Васильевич Любовин

Биографическая справка

Любовин Михаил Васильевич родился в 1900 году в станице Константиновской Войска Донского (ныне в Ростовской обл. России) в семье зажиточных казаков. В декабре 1917 года он, будучи учащимся Новочеркасской военно–фельдшерской школы, вступил в Добровольческий студенческо–ученический отряд и воевал некоторое время в его составе, затем вместе с братом Александром партизанил, когда территория Донского округа была занята Красной армией. После взятия Добровольческой армией Новочеркасска вернулся в военно-фельдшерскую школу, которую окончил в 1919 году. Работал фельдшером в Английском госпитале, затем во время отступления — на военно–санитарных поездах ВСЮР. Из Новороссийска эвакуировался в Крым, где некоторое время служил дивизионным фельдшером 18–го Георгиевского Донского казачьего полка, затем секретарём военно–санитарного инспектора Всевеликого Войска Донского в Евпатории, в числе прочего занимался обеспечением госпиталей медикаментами. После поражения Белого движения в Крыму эвакуировался на французской шхуне «SIAM» из Севастополя в Константинополь, затем в Сербию, сначала в село Бачко Градишты, затем в 1921–1924 годах работал фельдшером в государственной больнице г. Нови–Сад.



Михаил Любовин. Нови-Сад. 1923 г.

В 1924 году М.В. Любовин переехал во Францию, работал некоторое время в Русско–французском хирургическом

госпитале в Париже, затем в хирургическом отделении г. Монтобан; вернувшись в Париж, поступил на медицинский факультет Сорбонны. Получив в 1927 году французский диплом фельдшера, 8 месяцев работал частным ассистентом на хирургических операциях, затем завербовался во Французское Конго, где после специальной подготовки работал фельдшером, выезжал в многочисленные служебные командировки в очаги распространения сонной болезни. В 1930 году перебрался в Бельгийское Конго, где трудился фельдшером в управлении железнодорожной компании «Vicicongo» и родственной ей строительной компании «Соколь». В 1933–1934 годах провёл отпуск в Бельгии. В 1938 году на сбережения приобрёл небольшую кофейную плантацию в деревне Элимба и стал успешным плантатором. В годы Великой Отечественной войны сочувствовал борьбе Советского Союза против фашистской Германии, искал защиты от притеснений местных чиновников у советского консула в Южной Африке и даже в 1943 году безуспешно пытался получить советское гражданство. В 1944 году М.В. Любовин во время беспорядков в Бельгийском Конго был мобилизован в армию фельдшером, хотя имел нансеновский паспорт и не являлся гражданином Бельгии.



Михаил Любовин и Ирина Крувялис. Брюссель. 1947 г.

В 1947 году М.В. Любовин побывал в Брюсселе, где получил бельгийское гражданство и подтвердил свои документы о медицинском образовании. В Брюсселе он встретился с будущей женой Ириной Эдмундовной Крувялис. Пара обвенчалась в 1948 году и вернулась в Конго, где владела двумя небольшими кофейными плантациями (помимо кофе там производилось также пальмовое масло) и домом до 1960 года, воспитывала сына Святослава 1949 года



Семья Любовиных: Ирина, Святослав, Михаил. 1955 г.

рождения. После объявления независимости Демократической Республики Конго, в феврале 1961 года, М.В. Любовин вернулся с семьёй в Брюссель, потеряв всё своё имущество, работал провизором в аптеке до выхода на пенсию в 1965 году.

Свои воспоминания М.В. Любовин написал в 1960-е годы для сына Святослава, стремясь воспитать его в традициях донского казачества и русской православной вере. Воспоминания содержат много интересных сведений о жизни донского казачестве до 1917 года, о Гражданской войне на юге России, эвакуации из Крыма и жизни в эмиграции в Сербии и Франции, в Бельгийском и Французском Конго. Особенно важно, что воспоминания написаны от лица одного из низших чинов белогвардейцев и отражают точку зрения широкого круга рядовых военнослужащих, порой отрицательно относившихся к некоторым вождям Белого движения, совершившим различные проступки. Мемуары М.В. Любовина, подвергнутые бережной литературной переработке, вкупе с представленными С.М. Любовиным фотоматериалами представляют несомненный интерес как для специалистов-историков, так и для широкого круга читателей в России и за рубежом.

Воспоминания

*На память моему сыну Святославу,
родившемуся в Бельгийском Конго,
Paulis (Elimba, Uele), 11-I-1949 года*

Ехали казаки со службы домой...
Донская казачья песня

Не родись мой сын в Африке в Бельгийском Конго и не живи там до 1960 года, а потом в Бельгии, несомненно, я бы не писал настоящие воспоминания, но хочу, чтобы ты, Святослав, знал, и помнил, и передал из рода в род историю нашего донского казачьего племени.

Все мы коренные казаки, выходцы станицы Константиновской 1-го Донского округа Донской области, по всем рассказам про моего деда (твоего прадеда) Михаила Александровича Любовина, Василия Михайловича Любовина — твоего деда, Михаила Васильевича Любовина — меня, твоего отца, и тебя — Святослава Михайловича Любовина. Все мы донские казаки.

Буду, Святослав, мой славный сын, описывать всё это по порядку прошедших лет моей жизни на моей дорогой и любимой родине донского казачества — Тихом Дону. И ты донской казак — русский человек — и поэтому держись, сыночек, как национальности твоего отца — легендарного донского казачества, так и святой нашей веры; веруй по-казачьи, то есть будь православным, — и всё.

Россия

Моё рождение

Как и во многих казачьих семьях, у нас было три полковника-деда: один — провизор, один — священник, один — имел магазин парфюмерии. А мой дедушка Михаил (твой прадед) был коммерсантом, имел постоялый двор, харчевню, магазин земледельческих орудий, мясную лавку, в четыре десятины виноградный сад и всё такое.

Твоя покойная прабабушка Анна Анисимовна Владимирова (Киевская по первому мужу) рассказывала мне, что когда заселяли станицу Константиновскую на правом берегу Дона выходцами из других казачьих хуторов и станиц, то вокруг будущей станицы ничего не было, кроме степи, заросшей бурьяном и в балках — лесом.

Все балки, как правило, спускались к Дону. И вот когда высылали на выгон скот пастись, если к вечеру тот сам не приходил, то казаки боялись идти в балки искать, так как там было много волков, и, ходя вокруг балки, звали коров или телят: «Теля-теля-теля...» Но в моё время (в 1908 году) станица сильно разрослась, волков осталось немного, потому что их почти уничтожили казаки. И только в один знаменательный день, загнавши в станицу двух волков, казаки одного пикой поддели, а другого зарубили на нашей улице.

Моя бабушка (дед умер, когда мне было пять лет) рассказывала, что я родился в станице Константиновской 6 ноября 1900 года, в воскресенье, часам к пяти вечера. В то время давалось удостоверение о рождении только в тот день, когда крестили, а крестили меня в нашей Михайловской церкви 8 ноября 1900 года. Вот почему и празднуется день моего ангела в честь святого архангела Михаила (этот день был престольным праздником Военно-фельдшерской школы в Новочеркасске, где я учился) 8 ноября, а не 6 ноября. Отец же мой, твой дед Василий Михайлович Любовин, в чине сотника донских казаков, находился в пограничном корпусе и в это время был далеко-далеко от Дона — на польской границе.

Рассказы бабушки Анны

Вечером сидим, бывало, в беседке, заросшей густым непроницаемым диким виноградом, или на крылечке у входа в коридор, наружная сторона которого была покрыта разноцветными стёклами, из средины которых зажигались свечки вечером и держались всю ночь в Светлое Христово Воскресение. Это привлекало много казаков с их семьями, живущих в нашей казачьей станице Константиновской, полюбоваться таким ночным разноцветным зрелищем, редким для того времени 1905–1910 годов.

Так вот, сидим на крылечке обыкновенно в вечернее время с бабушкой Анной Анисимовной Владимировой, вдовой войскового старшины донских казаков (то есть подполковника). Много-много раз бабушка (твоя прабабушка) рассказывала про былое донских казаков. И сегодня, 6 ноября 1965 года (пишу в Брюсселе), в день моего рождения, я вспоминаю твою родную прабабушку, донскую казачку, как она нам, малышам, под вечерний звон Михайловской церкви нашей родной станицы рассказывала былины донских казаков, а также и про дни нашего рождения.

Солнце клонилось к заходу, воздух был чистый, тихий-тихий, спокойный. На улице станицы почти никого. Против крыльца фруктовый сад. Бабушка была большой любительницей выведения разных фруктовых сортов и занималась прививкой деревьев. Они всегда были перед глазами бабушки, то есть перед крылечком-верандой. И чего только не было привито на этих деревьях — на яблонях и грушах! — и бергамот, и разные заграничные сливы, яблоки, груши, райские яблочки и тому подобное (на жердёлах-абрикосах прививки плохо принимались). И всё это должно было быть без косточек. А про жердёлы говорить и не приходится, так как было 50–60 деревьев и после дождя или града всё было покрыто вокруг жердёлами-абрикосами, и не знаешь, ни что с ними делать, ни куда девать. Такие жердёлы никто и бесплатно не хотел брать, потому что казаки имели в большинстве фруктовые сады.

Бывало, сидишь вечерком, зачарованный станичным донским казачьим воздухом, в благоговейной тишине, из-

редка прорезаемой басистыми гудками проходящих по Тихому Дону пароходов. Сидишь с какими-то волнующими, глубокими, могучими, необъяснимыми и не поддающимися описанию чувствами и слушаешь с упоением сказания моей дорогой бабушки Анюты: «Родился ты, Мишенька, в воскресенье, 6 ноября 1900 года, в полшестого вечера. В это время бил звон вечерней службы Михайловской церкви в станице Константиновской. Был чудный тихий вечер, вот как теперь (и вправду, тот вечер был очень и очень хорош). Ждали тебя мы все — много родни, в особенности женского пола: сестры бабушки, тётушки, двоюродные сёстры и дальние дедушки-бородачи. Когда увидели, что ты казачонок, то сразу же посадили тебя на коня, приготовленного на всякий случай, дали тебе шашку в руку, но ты её не взял. А посему решили, что «будешь ты переписцем, то есть интеллигенцией казаков: писарем, чиновником, казначеем или попом».

В общем, было большое веселье, что родился мальчик-казачонок. Моя мать Вера Ивановна Любовина, кровно-урождённая донская казачка, была полна материнской гордости, что родила казачонка.

Вот что ещё мне рассказывала моя бабушка Анна Анисимовна. Был у неё двоюродный брат, который любил встать рано-рано утром, пойти на Дон и топором подрубить мёрзлые кизяки. Что это такое, я тебе объясню. Днём или вечером зимой казаки и казачки гонят скот (быков) на водопой. Для этого казак прорубает топором прорубь на донском льду, откуда быки и пьют воду. Когда одни пьют, то другие быки или брыкаются, или стоят, или толкаются. И большинство тут же на месте и испражняются. Замёрзший бычий кал по-казачьи называется «кизяки». И когда за ночь они крепко замёрзнут, то есть из них вода выморозится, тогда их топором легко подрубать, и они легко отскакивают ото льда. Не забудь, что это всё происходило лет 100 тому назад; про уголь мало знали, хотя бы у них и был под ногами. Кизяки эти, отлежавшиеся 1-2 дня, очень хорошо сжигали в печках для отопления куреней (казачьих домов) и приготовления пищи.

Так вот, этот твой дальний родственник решил рано утречком пойти на Дон и нарубить кизяков. С этой мыслью и

завалился спать. Вдруг проснулся ночью, глянул в окно: Боже ж ты мой — светло, день-деньской! А в то время часов не ахти как много было в домах. Ну, думает, проспал. Схватил поддёвку, запоясался поясом, засунул за пояс топор, схватил шапку в охапку, на дворе уже её нахлобучил и — к Дону. А там тишина немая, морозец даёт о себе знать. Думает: «Кизяки будут сухие от мороза и подходящие для горения».

Вот вышёл на лёд, подошёл к вновь заледеневшей проруби, где вокруг столько распластанного бычьего помёта — кизяков застывших. Размахнулся топором, чтобы подрубить первый кизяк, вдруг под самым ухом как заорёт бык: «Бу-у-у-у!» Казак вздрогнул, выпрямился и увидел: месяц у него стоит над самой головой, то есть полночь. Он сразу понял, что это его нечистый дух пугает. Луна светит как днём. От такой страсти у него папаха с головы шлёп на лёд: волосы от ужаса поднялись, шапка и свалилась. Ну, думает, вот тебе и проспал, всё это дьявол набаламутил. Творит молитву «Господи Иисусе Христе, Боже мой», нагибается, хочет папаху взять, а тут ему сзади снова и под самое ухо как заревёт нечистый дух по-бычьи. Но он совладал с собой, взял себя в руки и вспомнил, что ведь завтра воскресенье и что работать нельзя. И сотворивши крестное знамение, во весь глас начал молиться испытанной молитвой: «Да воскреснет Бог и расточатся врази его...». И вот так еле-еле добрался до своего куреня. И в это время зазвонили на колокольне станичной церкви, поплыл благовест православный...

Один из братьев твоей прабабушки Анны Анисимовны был священником. Приходит к нему казак-рыбалка и говорит: «Батюшка! У вас баркас, а у меня сетка. Поехали под праздничек рыбки половить». А это было под Благовещение. На том и порешили. Вечером погрузили сетку на баркас. И нужно было подняться вверх по Дону версты две, где, по словам рыбака, водится чебак, щука, сом и другие жирные и вкусные рыбы.

Приехали, кинули якорь-камень в воду. Забросили сетку, казак-рыбалка закрутил цигарку-самосад. В общем, сидят, курят, наслаждаются ночной донской тихой природой. Месяц светит серебристый над Доном. Вдруг какая-то тёмная тень легла на нос баркаса, да так, что и ка-

зака-рыбака, и попа, сидящих на корме, подбросило вверх. И когда баркас успокоился, то его нос был наполовину погружён в Дон, а они вдвоём оказались на приподнятой корме.

Казак-рыбалка вопросительно посмотрел на попа и спросил: «Что это?» Тот ему в ответ: «Молчи». А сам тихонько поднялся, снял с себя крест с цепочкой — и как бросит его на эту тень, лежавшую на носу баркаса: «Теперь «он» от нас не уйдёт!» У казака-рыбака мурашки по спине пошли от страха. «Что же мы теперь будем делать?» — спрашивает он у попа. Тот ему в ответ: «Вот сейчас увидим». И тотчас же спросил: «А ну скажи, к худу ты это сделал или к добру?» И вот где-то далеко-далеко как бы звук глухой по Дону прошёл: «К добру...» Тогда священник встал, говоря: «Ну раз к добру, тогда иди, но в другой раз не приходи и нас не беспокой». С этим снял и освободил крестом тень нечистого духа, который так шлёпнулся в воду, что обдал брызгами священника и рыбака, да и баркасу досталось. И так его образовавшейся волной качало, что им было трудно усидеть в баркасе. После этого вытащили сетку, улов рыбы был богатый, но казак-рыбак закаялся ездить рыбу ловить под Благовещение.

А вот тебе и ещё, мой сын Святослав, её же рассказ, как женился твой дедушка Василий Михайлович Любовин, донской казак, на твоей бабушке, донской казачке Вере Ивановне Киевской.

Повенчавшись, выходят из церкви. Идёт он под руки со своей новобрачной, вдруг поперёк дороги упала молодая девушка. Мой отец носком левой ноги её отбросил в сторону.

Когда они сели в свадебный фаэтон, то по дороге мчавшиеся во всю прыть лошади вдруг что-то почуяли, встали на дыбы и чуть не перебили молодожёнов; въезжая во двор, зацепились постромками, разодрав их. Это было подстроено: говорят, что когда посыпать толчёным сухим порошком мяса волка дорогу, то ни одна лошадь не пройдёт его, не ставши на дыбы.

Было у дедушки Михаила, твоего прадеда, два дома: один большой двухэтажный деревянный — там, где делали свадьбу, и другой такого же размера, только одноэтажный кирпичный, где находились харчевня и постоялый

двор. Когда молодые вошли на первый этаж дома, то лестница рухнула: то ли от многочисленной родни, на неё взошедшей, то ли подпилили злоумышленно. Её в два счёта поправили.

Мой дедушка ходил под Бахусом, всё время подбадривая молодожёнов. Но вот подходит один казак и говорит ему: «Ну как, Михайло Александрович, держишься? А не пора ли сдаваться?» Вперились они один в одного глазами. И вдруг этот казак охнул и сказал: «Прости меня, Михайло Александрович, не делай мне зла: просчитался, не думал, что ты так силён». Мой дедушка ему в ответ: «Ты зачем сюда пришёл? Чтобы наделать зла молодожёнам? Не вышло! А теперь просишь прощения. Нет! Вот пойди немножко поборись с цепной собакой». Тот, нагнувши голову, ничего не говоря, пошёл во двор и давай возиться с цепной собакой. Прошло немного времени, как дедушка с балкона, величая его именем и по отчеству, сказал: «Ну довольно, иди домой». Тот, подойдя к крыльцу, сказал: «Осрамил ты меня, Михайло Александрович. Заставил перед всем миром бороться с кобелём». Дедушка ему в ответ: «Не я к тебе со злом пришёл, а ты ко мне». Весь злоумышленник был изгрызен и порван, и пошёл он восвояси пристыженным и униженным.

Уклад жизни и происхождение донских казаков

Теперь напишу об укладе жизни донских казаков того времени, то есть вплоть до моего выезда за границу в 1920 году из Севастополя, когда я на многие, многие лета сделался эмигрантом.

В старое время родившемуся казачонку нарезывалась земля в 40 десятин, которые состояли из следующих наделов:

- 25 десятин для пахоты и посева пшеницы–хлеба;
- 10 десятин для уборки травы для скота (трава росла высокая, так что у сидящего на коне человека едва было видно голову);
- 5 десятин на бахчу, где сажали огурцы, капусту, — в общем, овощи, а также срезали хворост, из которого плели плетни (замещающие заборы) и делали стенки для тазов. Земля для бахчей высыхала после половодья Дона. Дон



Семья Любовиных. 1903 г.
Сидят: 2-й слева дед Михаил Александрович, Миша, сестра Люба.
Стоят: брат Шура, мать Вера Ивановна и отец Василий Михайлович

разливался у станицы нашей Константиновки на 20–25 вёрст. Степная земля была жирная, чернозёмная, и пшеница давала ежегодно большой урожай.

Эти нарезы получали исключительно казаки, а девочки–казачки получали половину казачьего пая. Паем называлась выделенная земля. Нарезывались паи ежегодно, а распределялись по жребию. То есть ты вынимал жребий и пользовался этой землёй только один год. Если полученный пай земли тебя не устраивал, то ты мог поменяться с другим казаком либо сдать в аренду за деньги или часть урожая. Всё это закреплялось станичным или хуторским атаманом. Кроме того, когда мальчику–казачонку исполнялось 18 лет, то ему у самого края нарезывалась одна десятина на постройку дома; девочке–казачке такого нареза не давалось. Таким образом, с возрастанием числа казачат станица ширилась и разрасталась.

Овдовевшая казачка сразу же получала землю–пай покойного мужа, поскольку, выйдя замуж, она теряла право на половину пая. Но если девушка–казачка выходила замуж не за казака, то, овдовевши, ни она, ни дети её не имели никакого права на казачий пай.

Итак, донские казаки по жребию каждый год получали свою землю, пахали, сеяли или сдавали в аренду, а на продажу пая не имели права: вся земля принадлежала Войску Донскому, всем донским казакам. Землю же, нарезанную на жительство в станице, то есть на постройку дома, казак имел право продать, но не раньше как построивши дом. Вдова казака имела право продать такое место на жительство, если она была опекуншей детей.

У казаков никакой знати (князей и так далее) не было, все были равны. Цари навязывали казакам дворянство за храбрость или 3-е поколение офицерства. Все дела разбирались станичным или хуторским сходом, или кругом. Все судебные дела также решались станичным сходом, за исключением убийств — такое передавалось российской судебной власти.

Приходили на круг и выборные старики-казаки, но ни в коем случае из других — не казачьих — сословий, будь даже они русскими. Селиться в станицах и хуторах не казакам (даже русским) разрешалось только с согласия хуторского или станичного схода, где подыманием рук говорилось «да» или «нет».

Эти наши исконные права донских казаков, которые исторически сложились и выкристаллизовались, царю и его приспешникам очень не нравились, и царская власть старалась ущемить, урезать эту донскую вольницу, откуда и вытекали бунты — казачьи бунты Степана Разина, Пугачёва и других дончаков.

Вот почему казаки дрались так жестоко за наши казачьи права, за нашу вольницу, за наше племя, верно — сильно русифицированное, так как к нам бежали самые сильные, самые вольные люди из России, Украины, Польши и Турции. Когда были войны, конечно, их брали-вливали в казачество легче, чем в мирное время, исключительно православных! — и крайне редко. В мою пору жизни в станице уже никого не принимали из-за того, что в это время нас — донских казаков, казачек и детей — было уже три миллиона. А принять даже и заслуженного храбреца, третье поколение проживавшего на Дону, было невозможно, учитывая нарез пая в 40 десятин и естественный рост населения донского казачества.

Кто такие донские казаки[1]? Когда я учился в Военно-фельдшерской школе в Новочеркасске, наш препода-

ватель, губернский секретарь из донских казаков, полковник Ушаков, которого мы называли Сёмочкой, рассказывал нам втайне от начальства, что донские казаки — это древнее племя славян, в которое влилось много русских, бежавших от крепостного права в России, турок, живущих рядом, и других народов, приходивших к казакам на Дон. Таким образом, донское казачество обрусело. О том, что оно имело самостоятельное государство, говорят исторические события:

- донские казаки пришли на помощь Иоанну Грозному, русскому царю, в 1552 году под Казанью, вымазанные в мёд и осыпанные перьями, с шашками на конях, наводя страх на татар;
- Азовское сидение — героическая оборона Азова донскими и запорожскими казаками от турецкой армии в 1641–1642 годах;
- грамоты царей России донским казакам.

Донские казаки были почти разбиты под крепостью Азов, что заставило Донской казачий круг, состоящий из выборных от станиц и хуторов, подписать с московским царём договор, в котором говорилось, что казаки-дончаки без царского разрешения не могут объявлять кому-либо войны и всегда должны идти войной на того, кто объявит России войну.

В то историческое время (Азовское сидение) небольшая часть казаков была магометанской веры. И когда договор был подписан, то они во главе с их донским атаманом Некрасовым перешли к Турции, которая их поселила на берегу Дарданелл. И когда я проезжал Дарданеллы на французском пароходе «Siam» в 1920 году, то эти наши станичники — выходцы с Дона, донские казаки из турецких — подъезжали на баркасах к пароходу и спрашивали, нет ли на нём донских казаков. А узнавши, что есть, угощали: давали-дарили хлеба, сушёной рыбы и пирожков, чем и я был угощён. Потом в газете «Известия» я прочитал, что все эти казаки вернулись на Дон.

Когда Ермак потонул в Иртыше, где и как его тело с панцирем нашли, а также место захоронения его? Предание говорит, что спустя много времени казаки-рыбаки вечерком расположились на ночь у берега Иртыша возле небольшого бугорка, куда положили свои головы вместо по-

душки. И ночью проснулись от голоса, идущего из могилы, который говорил им: «Здесь почивает донской казак по прозванию Ермак. О покое моём помолитеся». Вот так и узнали могилу захоронения атамана Ермака, донского казака. Гордись, сыночек Святослав, быть донским казаком, ведь наши предки строили и защищали великую Россию. Когда казаки под давлением Красной армии покидали Дон, то говорили: «Дон кровью брался, кровью и сдался».

Всё это я тебе пишу не для того, чтобы ты был отчуждённым от русских. НЕТ! Мы донские казаки России, теперь СССР, но это ничего не значит. Надо знать, хотя бы и вкратце, о древних днях начала донских казаков. В старое время царское правительство старалось умалить, распылить историю донских казаков, но наш уклад жизни до 1920 года мало чем изменился. А вот такие наши выборные атаманы, как Некрасов, Стенька Разин, Пугачёв и все другие, говорили о нашей вольнице, о самостоятельности донского казачества. Но почему история России умалчивает про глубокие корни выходцев из донского казачьего племени? Да потому, что дать описание происхождения донского казачества было не в интересах русских царей. И так это тянулось вплоть и до моих дней. Вот почему мой преподаватель просил не говорить кому и где не надо, что он нам, воспитанникам, рассказывал про донских казаков до сих дней.

Военная служба и казачьи училища

Когда казака в 21 год призывали на военную службу, он выходил в своём собственном снаряжении, так как царское правительство выдавало ему только огнестрельное оружие, а всё остальное он приобретал за свои личные деньги.

Обыкновенно на военную службу набирали казаков под Рождество. У выстроившихся в одну шеренгу группа офицеров, идя по ряду, проверяли качество и количество необходимых вещей. Предварительно подхорунжий выкрикивал: «Сёдла в руки!», или «Шаровары (казачьи брюки синего цвета с лампасами) в руки!», или «Портки (кальсоны) в руки!» и так далее.

Когда шёл осмотр лошадей, не только группа казаков–офицеров (чтоб не забыть, пишу, что в казачьих пол-

ках офицерский состав был исключительно из донского казачьего сословия, русских не принимали), но ещё и ветеринары — врач с фельдшером — строго проверяли строевых коней. Если коня браковали и у служивого казака не было другого в запасе, то он сразу же покупал у казаков-продавцов, приведших для этой цели лошадей. Если же у него денег не имелось для покупки (были казаки-лихачи, которые, идя на призывную службу, всё проматывали, прогуливали, пропивали), то ему выдавали коня из станичного табуна, а стоимость удерживали в казачью казну от аренды его земли. Обыкновенно такой казак был холостяком, но если же он был женат, то половина суммы шла его молодой жене (казачки, у которых мужья шли на военную службу, назывались жармелками), а другая половина суммы шла на покрытие стоимости коня.

Военная служба длилась три года. Казаки, не желавшие служить конными, шли в пехотные полки, состоящие исключительно из казаков и с казачьим офицерским составом; такие пешие полки назывались «пластуны».

Казачьи чины были такие: войсковой старшина, есаул, подъесаул, сотник, хорунжий, подхорунжий. Нижние чины: вахмистр, старший урядник, младший урядник, приказчик. Атаманом мог быть тот, кого выбирали казаки (по числу поднятых рук).

Неприязнь казаков к русским была очень большая; всех русских считали «инородными», а рассердившись, обзывали «хамами» тех русских, которые приходили на летние полевые работы и говорили с «длинным» акцентом: «Ванько-о-о!.. сгони-то-о-о воробья-я-я, баржа-то-о потопает...» И потом, казак букву «г» выговаривает по-особенному, а русский — как здесь, за границей, то есть мягко. И посему казаки смеялись на них, дразня: «На горе гуси гогочут, под горой гуча горит». Всех же украинцев называли хохлами; нас же, донских казаков, все они обзывали «чига» или «чига востропузая».

Русские нигде по Донской области селиться не имели права, если им казачий хуторской или станичный сход не давал на то разрешения, что решалось выборными казаками-стариками. Такое разрешение должны были иметь и все другие национальности Российской империи, но ни в



Михаил Любовин в форме военно-фельдшерской школы. Новочеркасск. 1916 г.

коем случае не жиды: еврею вход в Донскую область был полностью запрещён. Но какой же это был бы жид, если бы он не пролез на Дон, а посему их жило в Ростове видимо-невидимо, где они были коммерсантами, портными, докторами и газетными брехалами.

В казачьих училищах было немало русских преподавателей. И стычки с ними казаков-учеников случались не раз. Вот один из случаев. В последнем классе нашей Новочеркасской военно-фельдшерской школы[2] произошла словесная перепалка между учеником и преподавателем на почве плохого ответа по русской истории. Упоминались донские казаки. Казак-ученик, объясняя, говорил по преданиям донских казаков. Преподаватель из русских, расстроенный этим, по его понятиям, неправильным и упрямым ответом, выставил ученика вон из класса. Но тот, уходя, настаивал на своём и упрекнул преподавателя, что он умышленно ущемляет своей историей-объяснением донские казачьи права. Это ещё больше разъярило преподавателя, который начал толкать ученика не только из класса, но выгнал даже его вон из двора. Но когда ученик оказался за калиткой двора училища, тут он ощетинился и самым строгим голосом, не допускающим никакой оговорки, заявил преподавателю: «Стой! Дальше — это наша казачья земля». Вот тебе, сыночек, пример, как казаки любят свой Тихий Дон.

Бывало, как большая перемена — так пулей вылетаем из класса, лишь только преподаватель выйдет, и бежим

полной прытью к Дону, на ходу расстёгиваясь, снимая кушак и рубашку. А прибежавши к берегу Дона, сбрасываешь штаны и опрометью бросаешься в Дон, как и вся ватага ребят. Дон сильным течением сносит тебя далеко вниз. Доплывши на левую сторону по течению Дона, чуть оттолкнувшись ногами от дна, сразу же плывёшь обратно; еле-еле доплываешь — так устаёшь! Оденешься и идёшь обратно как можно скорее, чтобы не опоздать на урок. А дорóгой — разговоры, разговоры без конца, как кто-то чуть было не утонул, как другой, одеваясь, плотно застрял ногой в штанине...

Летом на время каникул приезжали из Новочеркасска в нашу станицу Константиновскую. Пойдёшь, бывало, утром с другими ребятами к Дону, купаешься целый день, озябнешь, дрожишь, но ничего: мигом падаешь на горячий песок, вываляешься в нём и сразу тепло и приятно станет. Надоест купаться — возьмёшь удочки и начинаешь рыбу ловить, если это удочка с поплавком. А обыкновенно закидывали удочки с грузилами, а сами с приятелями «голыша дули», то есть бегали что есть духу по косе. Коса была очень длинная. Начиналась она там, где стоял большой бак с керосином, сразу же за маленьким протоком, окаймлявшим станицу, там, где был острог и с ним — острожная церковь. Так вот туда-то тянулась коса вверх по течению до самого острова, который находился ближе к левому берегу Дона. Песочек на косе был очень чистый, рыхлый и глубокий. А сзади косы рос хворост, между хворостом были небольшие песочные полянки, куда мы ходили опорожнять наши мальчишеские животики. А за ними тянулись бахчи, где росло много помидоров, огурцов, редиски, арбузов, — насколько глаз охватит. Сторож, который гонял грачей, клевавших и портивших овощи, жил далеко в середине этих бахчей в своём шалаше. Он даже и не видел, как мы, проголодавшись, лазили по грядкам и набирали сколько могли огурцов и помидор, а когда созревали арбузы и дыни, то их. Всё это елось на косе.

Потом — снова купаться. Иной раз проголодаешься, бежишь к бабушке Анюте что-нибудь поесть. А иногда вообще целый день купаешься на косе и приходишь вечером домой — благо, что близко: две улицы пробежал вниз — вот

ты и у Дона. Другой раз так разбалуемся, что солнце начинает садиться, а мы играем себе на берегу косы. Тут появляется бабушка или кто-то из родителей ребят нашей компании. И волей-неволей приходится идти домой. А ох как не хочется!..

Всё лето мотаешься босой; на ногах по три-четыре пальца сбито, нос от купанья лупится, весь загорелый. Когда надоест на косе, одеваемся, ломаем длинные хворостины, с барж немножко отколупываем смолы, прикрепляем её к концу хворостины и, идя по берегу Дона, как увидим сидящую лягушку, так крадучись били их этой хворостиной, целясь, чтобы смола угодила по ней. Было этих лягушек на Дону очень много. А вот ракушки — какая это была опасная дрянь! Сколько раз я себе резал ими подошвы и пятки, когда нужно было идти по илу или по неглубоким местам у берега Дона.

Другой раз доходили до самого деревянного моста на Дону, чтобы посмотреть, как он разводится и пропускает проходящий пароход. А ещё забавнее было смотреть, как этот мост прогибается под повозками казаков, нагруженных сеном. Когда нам стукнуло по 13–15 лет, начали мы заплывать идущим пароходам навстречу, чтобы потом покататься на волнах. И другой раз так близко подплывали к пароходу, что матросы боялись, как бы нас притяжением лопастей не подтащило к ним. И матросы бросали в нас угли (углём топили паровую машину парохода), чтобы отогнать. Мы ныряли, прячась от летевших на нас углей, а потом, когда пароход проходил, весело качались на волнах.

Путешествие пароходом

Пароходом было всегда очень и очень приятно ездить. Это приходилось делать порой по два раза в год: в станицу Константиновскую и обратно в Новочеркасск, где мы жили и учились. Город Новочеркасск — это престольный город всех донских казаков. Туда выборные как от хуторов, так и от станиц атаманы съезжались на Войсковой круг и избирали войскового (то есть самого старшего) атамана Войска Донского.

Опишу удовольствие ездить пароходом. Бывало, едешь домой на Пасху, сядешь в станице Аксайской на пароход и

плывёшь Доном до самой Констатиновской. Кругом полая вода разлилась в левую сторону Дона — глаз не охватывает. Везде на пароходе казаки, едущие к своим родным и знакомым или по делам. Всюду приятные, хорошие разговоры. Ехавшие третьим классом, то есть на палубе, разложив свои пожитки и заготовленную пищу, смачно подъедали кто курицу жареную или варёную, кто утку, яйца, сало, колбасу. А жареную рыбу — так ты её на любой пристани мог купить — где угодно и сколько угодно. А первые огурцы или редиску всегда продавали в станице Багаевской. Глядишь — кругом вода, другой раз ярыги плывут, всё вокруг затоплено, а пароход бьёт деревянными лопастями колёс, и слышится шум от машины, которая движет его, гомон народа — всё это вливает такое приятное чувство в душу, что и не передашь словами. Всюду казачьи станицы, хутора. Вон тебе баркасов сто: это казаки ловят рыбу подсадками. А там видишь: табун лошадей перегоняют через Дон или сами кони поплыли, чтобы пощипать, полакомиться разными ими любимыми травами, которые растут из воды. Дальше — левады–бахчи, где казаки и казачки поливают свои овощи. А вон плывёт большой вёсельный паром, который переправляется с одного берега на другой там, где хутор и станица залиты половодьем.

Всё это видно хорошо с палубы, куда тебе приносят чай или обед. И как всё это вкусно естся! Но когда прохладно, спускаешься в каюту второго класса, которым мы всегда и ездили с твоей родной покойницей бабушкой Верой, моей мамой. Сидим за общим столом, в каюте немного накурено. Мама нас с братом двоих клала на одну кушетку, что я очень не любил. Мы с братом Шурой, твоим родным дядей, толкались локтями и дрались ногами, но всегда втихомолку (конечно, это нам так казалось). Тогда мамаша приходила и нам «лещей», то есть пощёчин, настреливала, и после такого умиротворяющего «рукоприкладства» мы засыпали детским невинным сном. Если же мама укладывала рядом одну из сестрёнок, тут, брат, другое творилось: сразу её задом вышибал на пол — дескать, само собой это во сне произошло. Если же не помогало, заваливался на её косы. В общем, приходилось маме класть сестёр на свою кушетку, а ты заваливался один атаманом на своей кушетке. Утром — о ужас! — просыпаешься, смотришь — а тут тебе рядом

сестрёнка, обнявши тебя, крепко спит. Ну так это утро! Всё хорошо! Скорее умылся — и на палубу. А когда вечером идёшь в уборную, то комаров вокруг электрической светящейся лампочки — видимо-невидимо. Да и вообще летом у Дона вечером комары летают тучами, кусаются крепко, но не все. Казаки говорили: «Окаянные комары таки прямо засекли (то есть заели) меня».

Интересно было наблюдать, как причаливает и отчаливает пароход от каждой станицы: Раздорской, Семикаракорской, Багаевской, Кочетовской, нашей Константиновской... Когда подъезжаешь к ней — а стоит она на высоком правом берегу Дона, — видишь вырастающую Михайловскую и Покровскую церкви, здание ремесленного училища. Вся станица расположена на степном плоскогорье: улицы ровные, никаких оврагов (только возле острога есть балки). А за станицей в степи растёт масса тюльпанов красных, маков и ромашек. И в самой станице во всех домах много сирени, роз, гвоздики, мяты и других цветов.

Летом, бывало, проходили через станицу отары овец по 2000–3000 или табуны лошадей по 500–600. Пастухи едут сзади отар или табунов. У них большие повозки, украшенные ковылём по случаю проезда через станицу. Псы, которые смотрят, чтобы овцы не разбежались, в это время на свободе, а другие на привязи сзади повозок — злые, сторожевые.

Иной раз то на корме, то на носу парохода услышишь, как казаки поют, так сразу же идёшь туда и пристаёшь к хору. Обыкновенно заводит песню один казак. Ему тут же вторит казачка или другой казак, а потом хором подхватывают все вокруг находящиеся казаки, казачки и казачата — и полилась казачья песня по донским заливам и берегам. И так задушевна она! То про атамана Стеньку Разина, то про атамана Чуркина[3], то про Ермака Тимофеевича. Так и все другие удалые казачьей вольницы песни: поёшь, поёшь и не напоёшься этих донских родных песен!.. Много-много раз напевал я их потом в тропических джунглях Африки: и во Французском Конго, и в Бельгийском Конго.

Казачьи песни

Мой славный и дорогой сыночек Святославочка, ты меня попросил, чтобы я тебе написал, про что наши донские

казачьи песни и всё такое. Это я и делаю — пишу. Вот рождественская песня:

Когда Иосиф с обручённой Девой
услышал от Ангела слово:
«Буди Отроча и Матерь Его,
беги, беги во Египет от проклятого,
Царь на осляти в Египет выступил.
Ирод войско своё рассылает в Вифлеем.
Царь нарождён в Вифлееме,
Царь нарождён от Матери Девы.
Бог восхотел, Слово с Вышних глаголюще:
Сегодня Бог родился, но не так, как Царь земной,
Он родился, но не в палатах и не в убранстве земном...»
Волхвы приходили и три дара приносили:
злато, смирну и ливан.

Я пришёл Христа прославить,
Вас с праздником поздравить.
Поздравление примите
в честь торжественного дня
и по силам подарите
чем вы можете меня.
Крикну в дудку:
«Гривенник на блюдку!»

Такие песни пелись у нас под Рождество в станице Константиновской ребятами-казачатами в моём детстве. А вот песня, которую пели на Новый год. Пишу отрывки, так как многое забыл:

А дед хвалится своим вороным конём,
Своим конём перед молодцом.
Припев: Святой вечер, добрый вечер,
добрым людям на здоровье.

Бабка хвалится своим колпаком,
Своим колпаком перед стариком.
Припев: Святой вечер, добрый вечер,
добрым людям на здоровье.

Парень хвалится луком-стрелочкой,
Луком-стрелочкой перед девочкой.
Припев: Святой вечер, добрый вечер,
Добрым людям на здоровье.

Вот другие отрывки песен донских казаков, которые и я пел между ними, как и написанные выше.

● *Конь боевой с походным вьюком*[4]
У церкви ржёт, кого-то ждёт,
Жена-казачка пику подаёт...
Мы государю послужили,
Теперь и твой черёд служить.
● *Ехали казаки да со службы домой*[5],
Едут по дороженьке да в отеческий дом.
● *Поехал, поехал казак в чужбину далёкую*[6]...
● *Ревела буря, гром гремел*[7],
Во мраке молния блистала...
(Дальше хорошо не помню.)
Сидел Ермак, объятый думой,
На диком бреге Иртыша.
● *Ой, тучки-тучки понависли*[8],
И в поле пал туман.
Скажи, о чём задумался,
Скажи, наш атаман.
● *За Уралом за рекой*[9]
Казаки гуляют
И калёною стрелой
За Урал пускают.
● *Так давайте, станичники,*
Выпьем да по рюмочке только одной,
Мы друг друга больше не увидим,
И придётся ли встретиться вновь.
● *Под Азовом мы стояли, стрелы — как стена*[10],
Пули сыпались-летели, как пчела.
Эй-эй, жги-говори,
Пули сыпались-летели, как пчела.
Впереди командирик молодой,
Он брюхатый, кривоглазый и хромой...
(Или: Он брюхатый, рябоватый и кривой.)
● *Только враг зашевелится —*
Наш казак уж на коне,
Рубит, колет, веселится
В неприятельской стране[11].

А вот наш казачий гимн:

Всколыхнулся-взволновался[12]
Православный Тихий Дон,
И послушно отозвался
На призыв свободы он.

Дон детей своих сзывает
В круг державный Войсковой,
Атамана выбирает
Всенародною душой.

Революция

Наступил февраль 1917 года. Революция. Все об этом говорят, но ничего нет официального. Но вот приходит начальник Новочеркасской военно-фельдшерской школы. Дежурный ученик-воспитанник кричит: «Встать! Смирно!» Стучат парты, дежурный ученик отдаёт рапорт: «Господин полковник! По списку учеников 4-го класса столько-то, налицо столько-то». Хотя мы его и каждый день видим, но зная, что теперь революция, что царя больше нет, все мы в тревожном состоянии, как и что он нам скажет. Хороший был начальник — полковник доктор Волошенко; не перенёс второго нашествия красногвардейцев на Новочеркасск и покончил самоубийством; потом я слышал, что вот так он и остался забытым-заброшенным в своём доме на Крещенском спуске. Вот что он нам сказал: «Дети! Дон в опасности. Всё наше донское казачество в опасности. Царя нет, так это не важно; цари никогда нас, казаков, не любили. Грядущие дни будут, несомненно, тяжёлыми, как и всякие революции. Будьте осторожны в жизни. И пусть будет с нами Божья сила. На сегодня вы все свободны».

Не успели мы выйти из ворот школы, как приехали студенты на извозчике и сказали, чтобы мы по классам шли к главному собору на революционный парад. Туда мы отправились всей гурьбой, а когда пришли, там уже было очень много народу, гремел войсковой оркестр, слышалось пение «Вышли мы все из народа...» и «Мы жертвою пали...» соединения запасных пехотных полков с оркестром — и всё это двигалось по Платовскому проспекту, где

Революция. Все об этом говорят, но имею нет официального, но вот приходит Начальник Новочеркасской Военно-Фельдшерской Школы, дежурный ученик-воспитатель кричит: вставать! смирно! ... дежурный ученик отдает рапорт, «Господин Полковник по списку учеников 4-го класса столько-то, на лицо столько-то и т.д.»
Хотя мы его и каждый день видим но знаем т.е. слышим что есть революция, что Царя больше нет, все мы в тревожном состоянии как и что дальше с нами станет. (Хороший был Начальник Полковник-доктор Волошенко, не перенес второго нашествия красногвардейцев в Новочеркасск и покончил самоубийством; потом я слышал что вот так он остался забытым-заброшенным в своем доме на Крещенском спуске.) Вот, что он нам сказал: дети! Дон в опасности, все наше Донское Казачество в опасности. Царя нет, так это не важно, Царь никогда нас казаков не любил. Будущие дни будут несомненно тяжелыми как и всякая революция, будьте осторожны в жизни, и пусть будет с вами Божья сила. Не скоро мы все забудем.
Не успели мы выйти из ворот школы как приказали отпустить на праздники, и сказали что-бы мы покинули шли к главному Собору на революционный парад, туда мы пошли группой, а когда пришли там уже было очень много народу, гремели войсковой оркестр, пели «Вышли мы все из народа» и «Вы жертвою пали» части запасных некоторых полков с оркестрами и все это двигалось по Платовскому проспекту, где часть учащихся распылилась а юнкера и войска пошли по Московской улице. Пришло лето, Керенский глаголствует, выборы атамана-временного. Идет другой раз по улице казак фронтовик и обращаясь к мне мальчишке говорит «товарищ! где тут находится такая-то улица» ну! какой я ему „товарищ" он казак, лет по 30-35, бывалый вояка с фронта, а может быть и отец семьи и вот вдруг мне мальчику 16-17 лет обращается „товарищ" как-то смешно и не соответствующе, да кроме этого у нас еще в те времена когда казаки сходились на сход, т.е. служившие в одних полках что они обращались друг к другу другой раз «товарищ» а так вообще всегда обращались везде всегда и всюду «станичник» а к женщинам «станичница», так вот [illegible] один раз по Александровской аллее, обращается ко мне один казак-фронтовик «товарищ не знаете ли вы и т.д.» я ему говорю «какой-же вы мне товарищ. Когда Вы человек по-

часть учащихся распылилась, а юнкера и войска пошли по Московской улице.

Пришло лето. Керенский глагольствует. Выборы атамана — временного. Идёт другой раз по улице казак–фронтовик и, обращаясь ко мне, мальчишке, говорит: «Товарищ! Где тут находится такая–то улица?» Ну какой я ему товарищ?! Он казак, лет под 30–35, бывалый вояка с фронта, а может быть и отец семьи. И вот вдруг ко мне, мальчику

16–17 лет, обращается «товарищ». Как-то чудно и несоответствующе: у нас ещё в те времена, когда казаки-однополчане собирались на сход, то обращались друг к другу «товарищ»; а обычно всегда и везде говорили мужикам «станичники», а женщинам — «станичницы». Так вот. Я говорю фронтовику: «Какой же вы мне товарищ, когда вы человек пожилой!» А он мне: «Ох ты, туды твою растуды твою...» — и пошёл! Вижу, что у него желание мне дать по физиономии, так я заблаговременно подальше от него, а то чего доброго настреляет «костылей», а потом ищи ветра в поле.

У входа летнего театра собирается Войсковой круг, куда сходятся выборные казаки и где им пропагандирует большевизм один учитель из казаков. Чудно и видеть это, и слышать их разговор; мало вникаю в это дело. Да как повернулся — ребячье дело! — всё забыл. То ли дело гулять по Московской улице и песни казачьи группой петь...

Прогремела весть, что большевики взяли власть в Москве и Петрограде. Донская область во главе с атаманом Калединым отделилась от России, объявив, что она сделалась Всевеликим Войском Донским. Свои донские казачьи деньги, своя армия, даже игральные карты — и те в донском казачьем духе.

Красногвардейцы готовятся в поход из Москвы на донских казаков. Восстал Ростов. На подавление там взбунтовавшихся большевиков каждое военное училище должно дать известное количество людей. В их числе и я, но ввиду того что мы будущие выпускники-фельдшеры, нас вчетвером прикомандировали к донскому Красному Кресту.

Остановка в станице Аксайской. Митинг казаков: за и против новой власти. Бросается в глаза один казак, который усиленно уговаривает казаков не поднимать руку на братоубийственную войну. Одни говорят, что мы идём убивать своих родных русских братьев и донских казаков. Другие говорят, мол, это мы защищаем донское казачество от засилья «хамов»-русских и жидов, которые хотят жидовскую власть против нашей родной православной веры. Говорилось много и скучно. Наконец мне надоело, ушёл. Часть казаков покинули вагоны, а остальные поехали на подавление.

Ночью санитарный поезд прибыл к Александровке. Бьют из орудий «Колхиды», трещат одиночные выстрелы винтовок, цокают пули по рельсам. Говорят, чтобы мы спрятались за вагоны. Чудно как-то всё это, но всё же отдаёшь себе отчёт: что-то страшное уже нависло. Сказали, чтобы шли сзади наступавших казачьих частей.

Идёт передовая стрельба станицы Александровской с Курочкиной балки (если только не ошибаюсь, так как мне 89-й год, а дело было в 1918 году). Перестрелка идёт частая. За последним домом станции наших залегло человек восемь казаков. Все они строевые казаки Баклановского полка[13] — фронтовики. Лежим за домом Александровки со стороны Курочкиной балки. По Александровке идёт сильный оружейный обстрел. Это моё боевое крещение, хотя вчера вечером, в момент прибытия в Аксай, по станции бил пулемётный и оружейный огонь, шум от которого вливался в вагоны. И это при тревоных серебристых отблесках керосиновой лампы, плескавшихся по поверхности рельсов.

Поздно вечером этого же дня привезли четверых убитых казаков-богатырей, положили их у дома, не помню, на какой улице. Подошли их сослуживцы-станичники (то есть казаки с их станицы), поснимали папахи, склонили горько свои чубатые головы, и каждый из них что-то скорбное, надрывное говорил. Положили кисет с табаком на грудь каждому погибшему и сказали: «Ну что ж, станичники, выкурим по закрутке за упокой их душ. Со сладким дымком табачка души их пойдут в рай, а там и захоронят их». Станичники взяли по щепотке табаку из кисета, скрутили по «козьей ножке» и молча, вздыхая, раскуривали. Это первая часть похорон. Мне было прискорбно смотреть на этих рослых, могучего телосложения убитых казаков и не хотелось верить и не верилось, что они убиты. Но потом казаки поговорили о том, кто возьмёт оставшиеся вещи покойных и свезёт их родителям. Зимний вечер превращался в ночь.

Утром рано-рано со стороны Нахичевани с 5-м Донским пластунским батальоном подошли к Ростову, прошли кирпичную фабрику. Говорят, что резервные солдатские части хотят сдаться. И редкий орудийный обстрел с «Колхиды» — броненосца, который стоял на Дону и своим

артиллерийским и пулемётным огнём не допускал жителей станицы Аксайской, как и всех других, брать воду к Дону, а под огнём не так-то легко и быстро сделать прорубь.

Рассвело. Вот заброшенная фабрика, вроде пивная. Пулемётный огонь. Все залегли. Приказ встать. Снова пошли. Вот Балабановская роща. Ведут сдавшихся большевиков; есть между ними и раненые. Казаки их раздевают, бьют. Одного сдавшегося батареец-казак зарядным пулемётным ящиком ударил сверху вниз; стесал всю левую щёку человеку. Я привык видеть кровь во время учения — вскрытия трупов. Но когда подобное человеку, хотя бы и не казаку, было остро жалостно видеть: я понял, что бедный человек обречён на смерть. У других снимают сапоги, но я никак не могу понять, почему их снимают, ведь они растоптанны.

Наступаем дальше. Подходим к Ростову-на-Дону. Сдаётся запасный Ростовский пехотный полк. Густая толпа солдат во главе с прапорщиком Вишневецким встречает впереди идущих атамана Каледина и генерала Абрамова. Справа от нас Балабановская роща. Вдруг какое-то замешательство, потом эта толпа мгновенно расступается, и — что я вижу! — пулемёт «максим», окружённый верховыми казаками, подскакавшими вовремя и обезвредившими эту предательскую западню, сделанную прапорщиком Вишневецким. Потом сдача пошла благополучно.

Вот вдали реет белый флажок на извозчике. Он подъезжает. В фаэтоне три пьяных моряка с «Колхиды». Это военное судно, которое своим метким огнём не давало возможность взять Ростов с Александровки, под которой было убито много казаков. Подъехали, слазят, в руках древко с белым флажком. В морской военной форме, упитанные, лет под 30. Подъехали прямо к начальникам. Я здесь, почти что рядом, поблизости.

Когда они начали говорить с Калединым, подходит один казак и винтовкой их отводит от разговаривающего с ними атамана с явной целью перебить их на месте. Но Каледин сказал казаку: «Оставь их в покое. Когда наши делегаты ездили к ним для переговоров, то они их не трогали».

Сдача города Ростова-на-Дону была полная, а руководитель — красный прапорщик Вишневецкий — был вы-

дан. Его поставили у стены и сказали, что кто желает, может ему морду бить. Ему плевали в морду, но бить не били, говоря, что не хотят руки пачкать об жида: он был еврей. Потом прошёл слух, что многие из красных взятых главковерхов были уничтожены на башенном мосту Ростова, на котором красные до этого, будучи у власти, расстреливали для них не нужных белых из живших в городе Ростове.

Простояли мы так с неделю в Ростове. Потом нас, учащихся военных казачьих училищ — кадетского корпуса, военно-технической и военно-фельдшерской школы, отобрали, посадили в вагон и, ничего не говоря — ни зачем, ни куда, — повезли.

Утром мы были на станции Сулин. Часов в 10 утра против станции замаячило человек 10–15 идущих в цепи, и оттуда были и слышны и видны выстрелы из винтовок в нашу сторону. 5-го Пластунского казачьего донского батальона есаул Петров, которому было поручено командовать нами, отрядил 10 человек и послал их навстречу, а остальные 30 человек, в том числе и я, остались для прикрытия станции.

Нам была хорошо видна схватка: наступающие, побросав винтовки, бросились наутёк, а 2–3 человека уселись на земле; вот их-то наши захватили и привели. Не знаю, какой им там был дан допрос есаулом, но знаю: они сказали, что пробирались к себе домой, будучи студентами-казаками, и что красные их захватили и повели для численности с собой в цепи. Но есаулу, видимо, хотелось показать, что он имеет право ни за что ни про что расстреливать людей.

Меня поставили над ними часовым. Вот на меня пристально смотрит один из студентов и спрашивает: «Ведь вы Любовин?» Отвечаю: «Да». — «Из станицы Константиновской?» Отвечаю: «Да». В общем, оказался дальней нашей роднёй, студент юридического факультета последнего курса. Конечно, узнать мне в этот момент было трудно его, с белым лицом и побелевшими губами, искажённого страхом, что вот-вот его расстреляют ни за что. Но когда я опознал в нём не только родню, но и узнал об их непричастности, тогда я пошёл и рассказал всё это есаулу. Тот меня послал к чёрту и сказал: «Всё равно рас-

стреляю этих красных». Тогда я ему, есаулу, сказал, что расскажу про всё это моей бабушке (а у бабушки два шурина и её муж —полковники в отставке), и в заключение сказал, что пусть меня везут обратно домой к матери в Новочеркасск, а убийства людей ни за что — я свидетелем быть не хочу.

К моим доводам ещё человек пять учащихся присоединились. Тогда есаул сдался и приказал, чтобы я их привёл. Я их оставил одних на перроне станции, а весь наш штаб находился в ресторане станции; там же был и есаул. Открыв дверь ресторана, я позвал их. Есаул, мерзавец, их там принял: «Так что же вы, господа, раньше-то мне не заявили и не объяснили толком. А ошибочка могла произойти каверзная. Ну вот, всё хорошо, когда всё хорошо кончается. А поэтому поводу и с вашего разрешения разрешите раздавить графинчик. Человек! Водки!»

Год спустя я видел этого родню-студента в чине сотника прокурором в нашей станице Константиновской, где он приговаривал людей к разным наказаниям, а может быть и к смертной казни. Думал ли он в это время про себя, когда приговаривал к смерти других?

Через день нас заместили донские юнкера, а мы по приезде в Новочеркасск были распущены по школам на продолжение учения.

Вступление красных в Новочеркасск в декабре 1917 года

Наш Донской студенческо-ученический добровольческий отряд был сформирован войсковым старшиной Холмским в Новочеркасске из семинаристов, кадетов, гимназистов, учащихся военно-технических, фельдшерских, реальных и других училищ. Отряд под командой есаула Карпова выступил в бой под станицей-станцией Сулин. Отходя под давлением многочисленных красных, мы отступили до станицы-станции Каменоломни. Нас в отряде было 60 учащихся, хорошо подготовленных к военной жизни. Вот песня донская студентов-добровольцев:

Слышали ль, дети, война началася[14],
Бросайте ученье, в поход собирайтесь.
Смело мы в бой пойдём за Русь Святую
И всех врагов побьём, сволочь такую.

Помню такие слова из песни тех лет:

Мы былого не жалеем[15],
Царь нам не кумир.
Мы одну мечту лелеем —
Дать России мир.
Вперёд на бой, вперёд на бой,
На бой — кровавый бой.

И вот какая ещё песня была:

Пусть каждый и верит и знает[16]:
Мы помним заветы отцов,
Погибших за край наш родимый
Достойною смертью бойцов.
Теперь же грозный час пробил-настал:
Коварный враг на нас напал,
И каждому, кто Руси сын,
Тому на бой кровавый путь один.

Итак, станица-станция Каменоломни. Меня послали сопровождать четверых раненых добровольцев-учеников из города Новочеркасска, куда я через час по железной дороге прибыл и остался дома, будучи военно-фельдшерским воспитанником последнего класса. Но красные сильно наседали. И через два дня после моего приезда я был оповещён о месте сбора на станции Новочеркасск, куда сразу же и пришёл.

Там я нашёл наш сильно потрёпанный отряд в металлических екатерининских вагонах, обложенных мешками с песком. Есаул Карпов лежал на носилках убитым; пуля ему попала под нос навылет в затылок. Прикрыт он был его же шинелью, а носилки с ним прислонены к стенке здания вокзала.

Суматоха на станции невероятная, так как красные уже в Персиановке и вот-вот войдут в Новочеркасск. И отряд бывшего полковника Голубова, теперь передавшегося красным, — его разведчики, красные казаки-фронтовики — все вблизи станции.

Так вот, идя вдоль нашего поезда, я увидел брата Александра, забинтованного, с текущей от контузии из носа и ушей кровью. Кругом офицеры, их жёны и дети, родители и родня учеников-добровольцев, боящиеся остаться или очутиться под неизвестной, новой, но уже прославившейся жестокостью властью красных. Вся эта масса людей

бегала, кричала, плакала, прощалась. И все стремились уехать: кто — к отряду генерала Корнилова, кто — с донскими добровольческими отрядами под командой малоизвестного генерала Попова. Но путь всех был через станицу Аксай, откуда генерал Корнилов взял направление в Кубанскую область, а генерал Попов — в донские степи.

Поздоровавшись с братом, я спросил его, куда пойдём — с Корниловым или в донские степи? Он еле-еле разобрал, что я хочу от него, а когда встал, то едва держался на ногах. Раненых увозили в госпиталь, а убитых или умерших от ранений оставляли там, где они умерли. Тогда, учитывая состояние здоровья брата, я его каретой Красного Креста привёз домой. Мама вся в слезах; сестёр Любу и Еву спрятали где-то. Мама сказала: «Миша, иди и спрячься. Слухи идут, что добровольцев убивают прямо на улице».

Я вышел к Никольской площади, встретил бравого черноморского матроса с револьвером в руке и возле него кучку несвежего вида горожан, которым он что-то рассказывал, размахивая револьвером. Он спокойно говорил, что вот так-то расправится с первым попавшимся белогвардейцем или буржуем, вот как с этим. И при этом тыкал револьвером в сторону лежащего застреленного им человека с обрезанными офицерскими погонами. Меня очень удивило, что я убитого не заметил, хотя и прошёл близко от него. Сердце моё сжалось от такой неизбежной будущности, и я, тихонько попятившись, отошёл и пошёл в направлении Александровского сада, боясь показаться людям, так как у меня хотя и не офицерские, а ученические срезанные погоны Военно-фельдшерской школы, но корешки их были очень хорошо видны.

Шел и как-то неожиданно очутился недалеко от Военной донской больницы, где, будучи учащимся последнего класса Военно-фельдшерской школы, имел три дня теоретических и три дня практических занятий: ортопедия, аптека, хирургия, управление-бюро. Наступала ночь, и я решил: будь что будет! — и пошёл в больницу.

Там меня принял сторож-дворник, старик, говоря: «Идёт собрание служащих, санитаров, фельдшеров и докторов. Вот где они сейчас выйдут. Постарайся не встретиться с таким-то фельдшером: он большевик-комму-

нист». Но я его не встретил, а встретил доктора Степанова, профессора практической хирургии в больнице, которого я знал, как и он меня.

Как только он меня увидел (уже при электрическом свете) в коридоре больницы, строго сказал: «Вас сейчас переоденут в больничную одежду. Будете лежать с диагнозом «polip a nosus» (то есть полип в носу) с будущей, так сказать, операцией. Постарайтесь больше молчать». На нём не было ни его полковничьих погон, ни военно-докторской формы. Переодев в больничную одежду, меня привели в палату легкораненых офицеров и учеников-добровольцев от 16 до 20 лет.

Первыми вошли в Новочеркасск большевики конного отряда Голубова, бывшего царского полковника, кавалера Георгиевского офицерского ордена, со стороны Кривянской станицы, а вечером того же дня — банда преступного красного отряда со многими железнодорожными составами.

Этим же вечером у нас в палате поставили одного красного с винтовкой и штыком. Несмотря на это, раненная молодёжь (исключительно белые) балагурила, смеялась, но как-то были все начеку. К 4-м часам дня пришли двое военных красных и сказали, что все легкораненые и могущие идти должны покинуть больницу, так как их переводят в другую больницу.

Имелись такие, которым было тяжело передвигаться, но, боясь худшего, они тоже пошли в неизвестность. Все они вышли в больничной рубашке, штанах и чувяках, а на дворе было 4 градуса. Их было человек 50. Через час вся больница знала, что их всех расстреляли возле Архиерейской дачи.

Пришёл один фельдшер и сказал, что меня зовёт доктор Степанов для визита. Пришёл к нему. Он мне сказал: «Вы будете ночевать в резервной аптеке. В случае если двери будут открывать, спрячьтесь где-либо за шкафами медикаментов».

В аптеке я нашёл подушку и одеяло. Окно аптеки выходило на станцию, за ней было поле, а вдали — Кривянская станица, которая находилась в двух вёрстах от Новочеркасска. Так вот, через это окно мне было видно, хотя и издалека, как на извозчике провозили людей и тут же расстреливали их, как и тех, которых приводили пешком. За

24 часа были расстреляны около двух тысяч офицеров, попов, учителей, купцов, много знати, приехавшей в поисках спасения у казаков в Новочеркасск.

Сквозь окно я насмотрелся на всё это. Но вот скрежет ключа в двери аптеки. Приходит тот же фельдшер, приносит мою одежду и говорит: «Одевайтесь, вас переводят в приготовительное отделение для операции полипов». Выйдя во двор, он остановился и сказал, чтобы я подождал. Через окно я увидел конных казаков, человек 30, и с ними в офицерском полушубке человека, а подошедший фельдшер сказал, что это и есть Голубов, который не дал красным снова вывести 60 человек для расстрела. И когда красные ушли, а красные казаки уехали, то все те, кто мог хоть как-нибудь ёрзать-передвигаться, покинули больницу, которая опустела.

Меня перевели в детскую больницу, которая тоже была пуста. Я был один, а через два дня подселился красный комиссар, бывший офицер, горький пьяница, страдавший ревматизмом и уверявший меня, что он праведный человек. Но меня вовремя предупредил фельдшер, что этот комиссар участвовал в расстреле первой группы в 50 человек раненых офицеров и партизан. На третий день какая-то работница больницы пришла и сказала мне, чтобы я немедленно покинул больницу и шёл куда глаза глядят, так как этот комиссар что-то про меня пронюхал. Она же на свой страх и риск пришла к нам домой и сказала маме, что я прячусь в больнице и обо мне беспокоиться нечего. Конечно, мама страшно перестрадала: она думала, что меня давным-давно расстреляли. Искать моё тело между расстрелянными не разрешалось, а если кто-то и добирался, его тут же и приканчивали, зная, что это близкие родственники буржуев-капиталистов-белогвардейцев-партизан.

Брата Александра арестовали дома, положили в сани и свезли на гауптвахту (в военную тюрьму), где было человек двести. Их там судили и каждую ночь группами по 20–30 человек вывозили и расстреливали. Мама походила, поспрашивала. И получилось так, что когда я вернулся из больницы домой (куда же мне было ещё идти?), то дома никого не нашёл: сестра продолжала жить у родни. Но после обеда приехала на извозчике мама, а с ней и брат Александр. Радости от встречи не было конца. А почему на извозчике? Это

ей разрешили ехавшие на извозчике красные комиссары, то есть неприкосновенные личности для власти.

Расстрелы утихли, можно было выйти на улицу. Аресты как на дому, так и на улице продолжались с их горькими последствиями. Мы молодые, нам всё как с гуся вода, а вот маме — нет. Дней через пять мама сказала, чтобы мы оделись потеплее и что мы поедем в станицу Константиновскую к бабушке Анне.

Вот мы сели в пассажирский поезд, народу там битком набито. В момент, когда поезд тронулся, вдруг сбоку на свободном пути появился и остановился поезд и из вагонов мгновенно вывалился народ в военном, штатском, с перевязками на голове, на руках, откуда просачивалась кровь; все вооружены до зубов. Это были анархисты. Они заполонили всю станцию и пошли проверять документы: искали коммунистов и офицеров. Офицеров, конечно, не нашли, а вот коммунистов — да! Последних тут же на перроне вокзала и убивали-расстреливали.

И так, всполошившись, мы простояли с полчаса, а через другие полчаса мы высадились на станции Аксай, где река Аксай впадает в Дон. Мама предупредила, чтобы мы друг от друга далеко не уходили и чтобы незаметно переехали на левую сторону Аксая, и потихоньку указала рукой на большой баркас, который стоял у устья Аксая при впадении в Дон, что мы и сделали. Мама другим баркасом подъехала.

Баркас принадлежал двум братьям-казакам, которые с верхних станиц привозили и продавали вяленую, солёную и сушёную рыбу в Ростове-на-Дону и вот теперь ехали-плыли с попутным ветром под парусом вверх по течению Дона к себе домой в верхние станицы. Так как попутного ветра не было, казаки взялись за вёсла и плыли вдоль берега. Мама плыла в баркасе, а я и брат Шура шли впереди по берегу. Прошли мы версты полторы, и за одним коленом-изгибом Дона подул попутный ветерок. Казаки-рыбаки сразу поставили парус, подплыли к берегу, где шли мы с братом, а пройдя ещё с полверсты, снова причалили к берегу и взяли ещё двух человек, которые оказались офицерами-казаками, бегущими от красного террора в свои станицы или хутора.

Всю ночь плыли под парусом, гребли вёслами или тянули лямкой вдоль по берегу. Мы с братом Шурой гребли

вёслами, когда надо было, а офицеры и казаки-рыбаки — тянули лямкой.

В одном месте этой же ночью, когда гребли вёслами и тащили баркас лямкой, вдруг с правой стороны Дона все мы услышали душераздирающий голос: «Добрые люди!!! Помогите, погибаю, утопаю: запутался в сетке. Погибаю!.. Помогите! На помощь!!!» Лодка ткнулась носом в берег. Подбежавший казак-рыбак шёпотом: «Ни слова, молчите. Вы, ребятки, идите, помогите лямку тащить. Вы, станичница, сидите и не волнуйтесь. А я сяду за руль».

Было очень темно, хотя ночью звёзды и отсвечивают от воды; мы различили одинокую фигуру казака-рыбака, уже не тянувшего лямку, а туго упёршегося ногами в землю, не давая баркасу плыть вспять. Взявшись за лямки, мы втроём легко пошли вверх по течению, тем более что за рулём сидел опытный казак-рыбалка, выросший на Тихом Дону.

Не прошли мы и пятидесяти шагов, как снова раздался душераздирающий, умоляющий голос о помощи и спасении, на что мы отвечали гробовой тишиной и молчанием. И вдруг грянул выстрел, но свист пули не был слышен: значит, далеко от нашего движения. Выстрел был винтовочный. И в заключение — матерная ругань по нашему адресу.

Спустя несколько минут из темноты выплыли две фигуры. Это были наши офицеры с револьверами в руках, говоря: «Мы живыми бы не сдались». Мы их хорошо поняли.

Пришла заря, а с ней попутный ветерок, и под парусом мы к 12 дня были у себя дома в станице Константиновской. Распрощавшись и отблагодаривши дорогих рыбаков-казаков, взявши извозчика, мы приехали к бабушке Анне. Радости не было конца. Вся родня знала, что мы партизаны, верные сыновья Тихого Дона, что я за храбрость был награждён чином старшего урядника, что было чудо во всей станице, а брат Шура — Георгиевским крестом с пальмовой веткой.

Два офицера остались в станице, ожидая военного донского казачьего парохода, так как они сразу же зачислились в Донскую армию против красных.

В подтверждение написанного и исторической проверки добавляю: в день, когда я и брат Шура собирались

ехать с мамой баркасом (думаю, что это было после 14 часов), проскочил курьерский поезд, не останавливаясь, по станции Аксай. Курьерский поезд состоял из двух или трёх вагонов вместо обыкновенных шести–семи, что было удивительно. Сразу прошёл слух, что в нём везли донского казачьего краснобая Богаевского, прославившегося красноречием в Донском войсковом круге; он до революции был преподавателем русского языка в Новочеркасской гимназии. Два студента привезли его в город Ростов–на–Дону (20 вёрст от станицы Аксай), провели его с поезда в Балабановскую рощу и расстреляли в упор из револьверов. Он был братом генерала Богаевского, впоследствии донского атамана, эмигрировавшего из Крыма и умершего в Париже...

Когда наш партизанский отряд, находясь в поезде, отступил в Персиановку, где летом 1918 года происходили повторные проверки призванных, ранее демобилизованных в запас, то приехал в отряд офицер из Новочеркасска и сообщил горькую новость, что наш донской атаман Каледин застрелился. Это произвело на нас удручающее впечатление.

А застрелился он потому, что донское казачество не откликнулось на его призыв собраться для борьбы с красными, которых было легко разбить вначале, но казаки после четырёхлетней Германской войны (с 1914 по 1918 годы) были уставшими и воевать им не хотелось. А посему, придя на Дон, все они разъезжались по хуторам и станицам к своим родным. И в то же время говорили: зачем им драться и убивать своих русских братьев? Вот что помогало красным захватить Дон. Кроме того, нарождавшаяся Советская власть не могла остаться без донского угля–антрацита, который в то время был единственным источником промышленного топлива в России, и богатых серебряных рудников.

Отступление. 1919 год

Окончивши в 1919 году Новочеркасскую военно–фельдшерскую школу в чине коллежского регистратора, я со званием лекарского помощника, то есть классного фельдшера, был прикомандирован в Английский генеральный госпиталь, который находился в Новочеркасске в здании бывшей местной команды казаков.

Гремят орудийные гулы вечерами по Новочеркасску. Красные наступают, и бои идут где-то недалеко от Новочеркасска. Госпиталь готовится к отступлению. Раненых отправляют на Кубань заранее. Всё складывается, упаковывается; и так тянется недели две. Где-то прорыв фронта. Приказ пойти домой, забрать свои вещи и быть на станции для отправки. Это произошло часов в 5 вечера. Я быстро пошёл домой, так как извозчики попрятались и исчезли. Войска движутся по всем направлениям и по всем улицам; все идут тихо, не шумят; всё время слышен орудийный гул; настроение города спокойное.

Пришёл домой, был рад застать маму, так как она собиралась ехать в госпиталь ко мне. Прибежала Люба и, увидев меня, сказала: «Вот и хорошо, что Миша пришёл: никак не могла найти извозчика, чтоб нам ехать к тебе, ведь все собираются уезжать». Поужинавши наскоро и собрав мой небольшой чемоданчик и вещевой английский мешок, я попрощался с мамой, сёстрами Любой и Евлашей (брат Шура лежал тогда в госпитале в Ростове на излечении после тифа). Мама говорит: «Боюсь я оставаться у красных: не знаешь, что может случиться». Но она понимала тяготы отступления, да ещё с двумя дочками. А эти тяготы маме были хорошо известны: ей приходилось два раза отступать, уходить из Новочеркасска, бросать дом, пряча сестёр 14–15-ти лет у знакомых. Да кроме всего этого — много наших знакомых оставалось, хотя их отцы, братья, мужья, да почти что все мужчины-казаки родственники служили в донских частях армии. Ходили слухи, что теперь красные не такие стали жестокие и ужасные, как вначале. Поэтому и я начал уговаривать мою дорогую страдалицу покойницу мамочку не бросать дома на произвол судьбы и не мучиться с девчатами в бегах, ничего не сулящих хорошего.

Так и порешили. А тут ещё была надежда, что, может, и красных отобьют, и фронт, как и раньше, отойдёт от города. Мама не плакала, сухие и скорбные глаза смотрели пристально на меня. По старому казачьему обычаю перед походом все сели и после минуты тишины, размышлений, молитвы встали. Мама меня благословила.

Ах, мама, мама! Как мне тебя жалко! Не думал я тогда, что тебя, моя дорогая мамочка, больше никогда не увижу.

Вот пишу, вспоминаючи тебя, моя милая мамочка, и плачу, а ведь мне 64-й день рождения сегодня — 6 ноября.

Взял я свои вещи и, расцеловавшись со всеми, вышел во двор. С разрешения мамы сестра Евлаша пошла меня проводить до памятника атаману Платову.

Дошёл я благополучно. На дороге к станции, спускаясь по Крещенскому спуску посередине аллеи, какой-то офицер верхом на коне кроет всех идущих к станции: «Что же вы, казаки, аль вам Дона не жалко, аль казачество потеряли, куда же вы идёте? Мы все должны пойти и помочь казакам, бьющимся с красными, и выгнать эту сволочь с Дона. Вот я с фронта, ранен в ногу, но прискакал сказать вам, станичники: Не робей! Держись! Бог не без милости, казак не без счастья!» И так, верхом на коне, призывал казаков поднять казачий дух, казачью удаль. Мне было плохо его видно вечером при электрическом свете, но когда я подошёл к нему ближе и он в это время подъехал к электрическому фонарю, освещавшему улицу, то я узнал в нём бывшего студента, прославленного героя борьбы против красных, за что он и был произведён в офицеры. Сам он был урождённым донским казаком из Новочеркасска. Прибывши на станцию, я быстро нашёл наш эшелон и вагон. Дали мне место, как и другим, на верху какого-то нагромождённого больничного багажа в товарном вагоне.

Пробыли мы на станции три дня, так как все пути к Ростову были забиты составами поездов, и, лёжа наверху на вещах в вагоне, жутко коротали, не евши, время, прислушиваясь то к нарастающему, то к уходящему шуму стрельбы винтовок и пулемётов. Говорили, что где-то красные пересекли железную дорогу к Ростову и что мы обречены на плен к красным. Выходило, что непогружённые тяжелораненые казаки нашего госпиталя и часть неупакованного и упакованного больничного имущества обречены на ту же участь, что и мы.

И вот наутро третьего дня поезд наш тихонько тронулся и пошёл. Через приоткрытую дверь теплушки видны были вагоны, сброшенные под откос, чтобы освободить путь как нашему, так и другим отступающим составам. Проехали станицу Аксайскую, остановились в поле, просидели до ночи в холодных вагонах. Ночью вдруг близко

где-то на бугре пулемётная и ружейная пальба, крики «ура», какая-то жестокая схватка, приказ бросать всё и бежать прямо на застывший Дон. Схватил я свой вещевой мешок и чемоданчик, выпрыгнул из вагона, перелез через буфера вагонов, так как с вещевым мешком на плечах было трудно и неудобно лезть под вагоном. И когда очутился на льду Дона, пересекая его и направляясь в Кубанскую область, то на льду нашёл многих бегущих спасавшихся — как сестёр милосердия, так и докторов и фельдшеров.

Не только я, но и все убегающие, не были приготовлены к такому отступлению — в поле, напрямик, по колено в снегу, с сильно бьющей пургой в глаза, легко одетые. Единственное, что спасало от замерзания, это подгоняющий тебя как можно скорее идти (если не бежать) страх быть зарубленным или пристреленным наступающими красными, когда время от времени оборачиваешься посмотреть: где они? И по огонькам выстрелов между метелью определяешь место.

В особенности тяжело было отступление женщинам, в лёгких туфлях на высоких каблуках, в лёгких чулках, в дамских пальто. Хотя у других и были дамские валенки и тёплые чулки, но что они в бушующей степной пурге?!

Идём ночью. От быстрой ходьбы и вещевого мешка с чемоданчиком, который я водрузил сверху и привязал шарфом, мне жарко. Подходит один офицер с обрезанной оперированной рукой и просит, чтобы я ему чем-либо завязал пустой рукав: его культяпке холодно. Но завязать нечем. Вспомнил, достал мой носовой платок и им завязал. Идём, разговариваем. Он говорит, что много народу осталось в вагонах и что какой-то архиерей разжиревший, которого везли нашим поездом, кричал, просил, умоляя, чтобы его не бросили, так как ему верная смерть от красных, а идти сам не мог: вес имел он приблизительно 160-180 кг.

Прибыли мы на небольшую просёлочную станцию, где накопилось немало беженцев. Это было рано утром. Не помню, до которой центральной станции нам надо было доехать. Погрузили нас на платформы. Забрался я кое-как тоже туда, подложил под себя чемоданчик и от усталости после ночи отступления, проведённой в поле, на кого-то навалившись, быстро заснул.

Проснулся, когда все почти что спрыгнули и ушли с платформ. Я тоже встал, взял за ручку чемодан, и — о ужас! — сзади из чемоданчика вывалились две из моих ученических книг. Даже в такое тяжёлое время вор остаётся вором: разрезал мне сзади чемоданчик и выбрал всё из него. А, уснувши крепко, я ничего не почувствовал. Было жестоко обидно, аж дух захватило, но ничего не поделаешь. Посмотрел-посмотрел я на него, нагнулся, поднял мои две книжки, а чемоданчик бросил. Забрал этот вор у меня почти всё — до нижнего белья. Злясь и ругаясь на самого себя, поплёлся я на станцию. Войдя, увидел доктора — английского полковника нашего Английского генерального госпиталя, который сообщил нам: через час вот здесь на станции он всем успевшим убежать отступающим уплатит вперёд трёхмесячное жалованье и чтобы предупредили других, если есть таковые. Ровно через час выдали нам удостоверения и направили нас всех (медицинский персонал) в Военно-санитарное управление на колёсах: оно находилось в составе поезда и передвигалось с донскими казачьими полками по линии железной дороги, конечно находясь в глубоком тылу.

Из Военно-санитарного управления меня назначили в 103-й эвакуационный пункт, который формировался на станции Михайловской. А станица Михайловская Кубанской области находилась в трёх вёрстах от станции.

Приехавши туда, я представился старшему врачу, который отвёл мне кровать в большой комнате. Пока нас было двое: заведующий пунктом и я. А через два дня персонал состава состоял из уже 20-25 человек. Служба заключалась в отправлении раненых и больных, прибывающих со всех окружающих нас фронтов.

Приходили поезда из-под Ростова по 20-25 вагонов. Какой вагон ни откроешь — находишь лишь мертвецов, замороженных, закоченевших раненых и больных, как казаков всех областей (донских, кубанских и терских), так и солдат деникинской армии. Таких замороженных воинов Добровольческой армии было в каждом вагоне по 20-25 человек. Первое время по телеграфному телефону передавали, чтобы приняли такой состав замёрзших мертвецов на будущей станции, а потом приехали 50 человек красно-пленных, которые долбили лопатами землю. Земля

промёрзла, сделалась как камень, и никакая её ни кирка, ни железная лопата не брала, и умерших набиралось каждый день всё больше и больше.

Отвели магазин станции для раненых и больных. Насыпали соломы. Хотя редко, но топили. Вшей полным-полно — как на раненых, так и на больных; в соломе, на полу — как песком насыпано. Раненые и больные отказываются ехать в теплушках, где печки нет: не дай Бог, поезд остановится в степи — это верная смерть. Красные пленные наложили мертвецов сзади здания, снег их запорашивает. Больных человек сорок, мрут ежедневно, медикаментов не хватает. А тут ещё приходят повозки с ранеными и убитыми, успевшими быть погружёнными на санитарные повозки раньше, чем красные займут населённый пункт. Как правило, в таких санитарных повозках всегда один-два умерших-замёрзших, да иначе и быть не могло.

Вот один раз к вечеру приходит повозка. Открываю капюшон санитарной повозки и вижу знакомое лицо лежачего больного в синем фланелевом больничном пиджаке и в таких же штанах. Присматриваюсь: это мой одноклассник, выпускник-фельдшер, еле живой, замёрз. Была у нас больница для офицеров, бывшая школа, куда я его и свёз. В ней тоже на полу и на сене лежали раненые и больные офицеры, но им давали по одеялу. Там было тепло, топили хорошо, но кормили неважно.

По фамилии он был Гаврилов, спокойный, славный малый, сидел он в школе на парте последнего года впереди меня, звали его Колей. Как и в каждом училище в подобных случаях, все мы проводили учебные года с товарищами школы. Так и с ним. И было для меня ударом, когда на другое утро, идя в больницу-школу, у крыльца я увидел припорошённую снегом синюю больничную пижаму, лежавшую на многих других мертвецах. Вначале подумал, что это кто-то другой, лежащий в такой же синей пижаме, но, войдя в палату, увидел пустое место, где он лежал. И жалобно сжалось сердце от тоски, что потерял так глупо, так неожиданно приятеля по многим школьным годам.

Весь персонал жил хорошо, каждая кровать была отгорожена ширмой из простыни. Ели очень хорошо: вечером борщ и зажаренный окорок, гусь или баранина, а на сладкое — взвар или кисель. По телеграфному телефону по

станции всегда сообщалось, когда придёт поезд с ранеными и больными или с тылу пустой состав, чтобы забрать скопившихся у нас раненых и больных.

И вот один раз в предвечерних сумерках иду проверять пришедший с фронта состав. Вижу издалека: вылезают из вагона несколько человек. Впереди худой молодой человек, который как бы старший, ведёт эту большую раненую «братву». Он на ходу громко протестует: «Ведь это безобразие! Заморозили людей, ни кипятку, ни супа горячего. Что же это за санитарная организация!» Сам про себя думаю: «Что это за наводчик порядка?» В это время я был дежурным фельдшером по станции. Подхожу ближе, вижу: брат Шура! От такой неожиданной встречи не было конца нашей радости.

Взял я и в первую голову выкупал его на станционной водокачке, где мы и сами купались, дал ему всё моё чистое как верхнее, так и нижнее бельё — мы были почти одинакового роста: он — 1 м 80 см, а я — 1 м 78 см. Он был выздоравливающим после тифа, успел чудом выйти из госпиталя в Ростове, где-то с какими-то казачьими частями принимал участие в сражениях на фронте, но ввиду слабости и непригодности вести военную службу временно был послан в тыл на поправление.

В полуверсте от станции нанял я ему у одного казака комнатку и свёз туда сразу же. Он был очень слаб, так что нужно было мне его под руку тащить. Хозяйка дома — жена казака — радушно уложила брата на русскую печку, напоила его тёплым парным коровьим молоком и очень хорошо ухаживала за ним, о чём как её, так и казака-станичника я очень просил, боясь, чтобы не произошло, как с моим товарищем по классу и школе Николаем Гавриловым, который умер от моего недосмотра, в чём я сам себя обвинял и обвиняю и о чём моя совесть и до сего дня не может успокоиться.

Снова фронт подходит. Брата в нашем общежитии медицинском устроить не смог: было строго запрещено устраивать родных и тем более — выздоравливающих тифозных больных. Боялся, как бы ночью или даже днём какой-нибудь красный отряд не прорвался и не зарубили бы его в этом хуторке. Да и сам казак (он был инвалид без четырёх пальцев правой руки, красные ему в одном бою

отрубили их) боялся иметь лишнего в своём доме — такого же, как и он, хотя я ему очень хорошо платил деньгами и вещами, которые мне так тяжело было достать: дал шинель, френч английский, две пары нижнего белья, английские ботинки с обмотками, четыре простыни, несколько пар шерстяных чулок, полкило табака и 2 кило сахару.

За две недели брат хорошо поправился. Одел его как можно теплее и, чтоб он не набрался вшей, посадил я его впереди на паровоз, дал на чай машинисту паровоза, попросил, если брату будет холодно, то пусть его он пустит в паровоз, к кочегарке, думая: «Пусть лучше он в угольную пыль выпачкается, чем наберётся снова тифозных вшей». И покатил мой брат.

Предварительно мы договорились, что на каждой станции, в нужниках, входя, в углу вверху по правой стороне писать: «Проехал эту станцию такого-то числа; еду на такую-то станцию». Тогда практически никакого почтового сообщения не было. И вовремя я его отправил: через три дня станция Михайловка была окружена прорвавшейся красной кавалерией. В это время я порвал все мои доблестные документы, так как знал, что одна такая записка-документ, где говорилось, что я «за храбрость против красной армии награждаюсь Георгиевским крестом и произвожусь в старшие урядники», влекла к неминуемой смерти, то есть участи быть расстрелянным или зарубленным. Пришедший с фронта бронепоезд освободил нас вместе с подоспевшей кубанской казачьей частью. Погрузившись всем медицинским персоналом на поезд, мы приехали в Тихорецкую, потом в Армавир.

По дороге на почтовых сортирах-нужниках, я читал, куда брат ехал. В одном из нужников брат написал, что будет в Армавире. Приехав в Армавир, я встретил казаков лейб-гвардии Донского казачьего полка, которые мне сказали, что мой брат с ними, но обессилел и поэтому находится в обозе. Начал искать его, но он раньше меня услышал от казаков, что я на станции в военно-санитарном поезде, и пришёл ко мне. Ему дали увольнительную записку, а нас, то есть наш медицинский персонал военно-санитарного поезда, расформировали. Меня послали в Екатеринодар (теперь Краснодар) в распоряжение Донского Красного Креста.

Теперь мы вместе с братом на железной дороге узнали, какой первый эшелон-поезд идёт в город Екатеринодар, и из вагона в вагон начали проситься, чтобы подвезли. Все вагоны всех составов были забиты отступавшими — как военными, так и частными лицами. Было очень трудно куда-либо попасть. Но вот в одной теплушке товарного вагона мы видим в приоткрытую дверь стол и что-то похожее как бы на благоустроенный вагон. Подошли, вежливо спрашиваем, могут ли они нас подвезти в Екатеринодар. Спрашивают, кто мы и что мы. Мы в них, со своей стороны, видим «знатных мужей». Когда узнали, что мы братья и я фельдшер, то сразу согласились.

Они оказались богатейшими купцами из Ставрополя, драпали с набитыми как иностранной валютой, так и русскими рублями в золоте чемоданами. Их было трое. Чтобы не забыть, напишу сразу: видел я их случайно в невероятной сутолоке на набережной Новороссийска за две недели до того, как я и Шура погрузились на судно в кошмарной обстановке. Они же, эти «знатные люди», с сияющими рожами встретивши меня, сообщили, показывая пальцем в порт, где было немало судов, что сегодня грузятся на какой-то английский пароход. .

Так вот. Поселившись у них в вагоне, успокоились мы, что теперь быстро и благополучно доедем до Екатеринодара. Вагон оказался на славу, хоть и товарный: все стены были обиты одеялом, на нарах по нескольку байковых одеял, вокруг стола три стула, лампа-молния вечером ставилась на приделанную полочку, печка прикручена к полу вагона, уголь в мешках и деревянные напиленные полешки лежали под нарами в большом количестве с левой стороны вагона. Эти купцы не стеснялись перед нами раскрывать их чемоданы, пересчитывать их валюту в долларах, стерлингах и золотых рублях. А набито их было столько, что не верилось, что это правда. Все русские люди были гостеприимны, но не эти купцы: они не угостили нас ничем, кроме чаю со сдобными сухарями — такие бессовестные люди! Но дело не в этом.

Ехав поездом, все мы спали: они на нарах с одной стороны, а я с братом — с другой стороны. Вдруг ужаснейший стук. Я увидел, как лампа полетела со своей подставочки. А один из них начал орать где-то на полу с испуга. Потом

всё затихло, поезд остановился. Зажгли спички, кое-как зажгли лампу-молнию, осмотрелись. Тогда один из них вдруг пихает мне в руки револьвер, говоря: «Казачки, братья-офицеры, защищайте нас, не робейте; это, видимо, зелёные напали на нас». Идут споры: открывать или не открывать двери. Ну, думаю, защищать таких «волкодавов» — дудки. Моргаю брату. У брата свой револьвер-наган. Я молчу, держу револьвер наготове. Открываю дверь, брат сзади меня шепчет: «Не лезь куда не надо, оставь меня». На полотне железной дороги тишина, никаких зелёных нет, а это просто саботирование. Пустили сразу же один поезд сзади нас, который врезался в хвост нашего состава. Был разбит вагон, в котором везли фуражки, — ими всё полотно железной дороги с двух сторон вагона было засыпано. Домкратами перевернули этот вагон и поехали дальше до Екатеринодара; а купцы покатили до Новороссийска.

В Екатеринодаре меня прикомандировали снова фельдшером в военно-санитарный поезд, который ходил между Екатеринодаром и Новороссийском. Брат жил со мной. И вот в одно прекрасное время вспыхнул пожар в каким-то образом прицепленном вагоне в середине нашего поезда. Это по тем временам непонятно и недопустимо: в вагоне товарном оказалось четыре скаковых лошади. Безобразие! Когда люди гибнут от недостатка вагонов, когда идёт полное отступление, ловкачи-купцы устраивают свои делишки, спасают рысаков вместо жизни неизвестных военных белой армии.

Генерал-доктор и я (под его командованием) приказали одному казаку-санитару играть на гармонике, а сами с кочегаром открутили и отцепили этот горящий вагон с четырьмя рысаками, где трещали горевшие патроны. Освободивши его от состава с двух сторон, отцепили паровоз, так как раненые казаки, солдаты и офицеры грозили револьверами перебить нас за такое попустительство.

Прибывши в Екатеринодар и погрузивши комендантский взвод с офицером, вернулись снова к составу, где вагон с лошадьми полностью сгорел. Виноват в этом был конный, который заснул и папиросой поджёг сено. При виде комендантского взвода возбуждение сразу утихло, иначе расправа была бы жестокая: расстрел за малейшее возражение в подобных случаях.

Будь я на месте раненых или больных, я точно так же возмущался бы, как и они, и есть за что: заказывая человек на 200 раненых и больных военных на станции обед из супа с мясом или просто чай, приезжаешь, идёшь на станцию — и вместо заказанного какой-нибудь полковник или капитан тебе учтиво предлагает принять корзиночку, где тебе и окорочок, и икра, и коровье масло, и разного сорта консервы. А когда согласишься, — и небольшой пакетик с суммой.

Вначале ловкачи, пользуясь моей молодостью, отделывались от меня «разводом рук», неимением вовремя приготовленных продуктов и тому подобное. Всё это я рассказывал генералу-доктору, начальнику военно-санитарного поезда. Генерал мне хорошо объяснил и приказал быть бессердечным с такими лицами. Но что может сделать старший фельдшер в подобных случаях, когда у генерала — и шампанское, и весёлое общество, в числе которого были и ответственные лица, уже описанные полковники и капитаны? Несмотря на молодое и честное желание быть таким как надо, ничего не выходило, а изголодавшиеся и изнемогшие от жажды военные выли и в своей злобе в один прекрасный день чуть не убили меня. Один капитан, очень слабый, выстрелил в меня; пуля прошла далеко влево, но это ничего не значило: следующая такая пуля могла быть для меня последней, о чём я рапортом доложил генералу-доктору. Всё дело, конечно, кануло как «камень в воду». Медицинский состав хорошо занимался ранеными и больными, но, конечно, ответственные за их кормление показывали на меня.

Теперь опишу, как кормили больных и раненых в военно-санитарных поездах. Если комендант станции вовремя приготовил суп или чай, то суп всегда был хороший, полугустой, с мясом, очень вкусный; чай — всегда сладкий, а не полусладкий; хлеба давали по полбулки на каждого воина. Как суп, так и чай носили в больших чанах и разливали в котелки раненым и больным. У кого же не было котелков, то на обратном пути наливали в опорожнившиеся: которые уже поели, одалживали котелки тем, у кого по каким-либо причинам их не было. Ели все сытно.

В чистом санитарном отделении перевязочные больные и раненые имели хороший уход. Во время стоянок на

станции (обыкновенно стояли по 2–3 часа) кому нужно делались перевязки. Умершие были из начавших выздоравливать, измождённых, исхудавших тифозных больных: их нужно было не напичкать супом или чаем, а последовательно понемногу кормить. Моего брата спасло от смерти то, что он жил и ел со мной.

Спали мы рядом на нарах вагона-теплушки с другими докторами, фельдшерами и сёстрами, а вагон 2-го класса был предназначен для дезинфекции материала и склада лекарств. Мои обязанности заключались в том, чтобы знать число забранных на конечной станции раненых и больных воинов, рассаживать их не больше 20-ти по каждому вагону, заботиться об их кормлении, звонить, предупреждать впереди находящиеся станции о нашем прибытии и о заготовлении чая или супа для прибывающих воинов. Служба была очень кропотливая, а тем более во время отступления, многократного окружения, со стычками с недовольными как больничным персоналом (пленными красными санитарами), так и больными. А больные этой войны — раненные, раздражённые, недовольные, оставленные в иных случаях на произвол судьбы и во многих случаях столкнувшиеся с бессердечным грабежом наших военачальников. Как ни прискорбно писать, но это был просто срам: приходилось мне бегать по станциям, просить, уговаривать, грозить, а они, в свою очередь, запугивали меня — но нет, не на того нарвались!

На одной станции прикомандировали к нашему военно-санитарному поезду одну миленькую, лет 17–18-ти, милосердную сестру, дочь одного генерала. Она вышла из госпиталя Армавира после тифозной больницы. Красивая была девушка, но очень слабенькая после болезни. Её все предупреждали, чтобы она много не ела, так как она имела брюшной тиф. Как сейчас помню: выходя из нашего ресторана-вагона, познакомились с ней я и брат, который жил и столовался со мной в военно-санитарном поезде с разрешения генерала-доктора; при лунном свете на тендере калякали; это была первая и последняя встреча. На другой день нужно было сбросить с десяток умерших воинов из предназначенного для них вагона. Открывши вагон, я увидел, что у самых дверей валялось её тело головой вниз. Я долго не мог забыть это видение.

Борьба за захоронение мертвецов была большая. Никто не хотел их принимать и заниматься ими. И потихоньку один раз их набралось вагонов семь, да к тому же битком набитых. Когда морозно, это ещё ничего, а вот когда потеплеет, то слащаво-приторный «аромат» трупов разносился по всей станции, так что коменданту Армавира волей-неволей приходилось давать распоряжение на их захоронение. Это было большое зло.

Однажды на наш поезд погрузили откуда-то прибывшую группу престарелых архиереев, генералов и сенаторов. Привезли мы их с ранеными в Новороссийск для погрузки на пароход в Англию. Меня назначили их сопровождать фельдшером на этот английский пароход. Я постарался туда же устроить брата санитаром. Когда брат узнал, что я его устроил санитаром на пароход, то он категорически отказался поступать на такую унизительную работу. А я не хотел без брата один уезжать. Военно-санитарный наш поезд вернулся снова к фронту, а тут подошёл полк брата, лейб-гвардии Донской казачий, куда и я временно записался, дожидаясь моего военно-санитарного поезда. Но вскоре полк послали за Новороссийск занять позицию.

По дороге ночью полк попал в одном ущелье возле Волчьей Ямы в перекрёстный огонь. С одной стороны били красные, с другой — зелёные. К нам на помощь подошёл пробивавшийся с тыла наш бронепоезд; с моря освещали нас и сильными прожекторами помогали нам английская и французская эскадры, находившиеся в порту Новороссийска. Как мы выскочили из этого ада, трудно сказать.

Потом другой ночью расположившийся на ночёвку полк был полностью захвачен красной кавалерией. Ночная стрельба — невесть в кого... Красная кавалерия, наскочившая и побившая немало казаков, скрылась в окружающей местности, очень лесистой. Я и брат, выскочивши из домика, где спали, бросились бежать по направлению к Новороссийску. Вокруг, хотя и не рядом, но всё же близко, красные кавалеристы нападали, стреляли и рубили бегущих и отступавших. Брат тяжело поправлялся, а посему под утро был полностью физически измождён, иссяк. Солнышко стало подниматься. Слышим, сзади красные рубят бегущих, те кричат предсмертным криком. Я говорю: «Шура! Прибавь

шагу, ведь зарубят». «Не могу, — говорит, — нет сил. Беги, Миша, нечего из-за меня нам двоим погибать».

Как мне ни было жалко брата, но я прибавил шагу, всё время оглядываясь, не теряя его из виду. Не успел я отойти и ста шагов от него, как впереди, на возвышенности, увидел сильную цепь дроздовцев, то есть воинов Дроздовского полка. Брат у меня на виду; вижу: идёт, смеётся, радуется, что оторвались от преследования. И я тогда понял, почему красная кавалерия не погналась за нами: с лошадей ей было хорошо видно залёгшую нашу пехоту, которая была защищена хотя и не густым, но растущим частыми пучками лесом.

Эвакуация из Новороссийска

Пешком потом каким-то образом дотащились до Новороссийска и здесь снова столкнулись с этим ничего хорошего мне не приносившим лейб-гвардии Донским казачьим полком. Мой брат был в нём подхорунжим-инструктором, вот почему он упорно держался его и провёл в нём как в заботах, так и в битвах два года. Увидел его брат, заволновался. «Давай, — говорит, — примкнём к нему. Полк идёт в Турцию через Туапсе, пароходов на погрузку нет, это наше последнее счастье». «Нет, — говорю, — спасибо за такое счастье. Давай лучше попытаем счастья — погрузимся». С этим пошли на набережную.

Там творилось что-то неописуемое! Стоя прямо на улице, голые офицеры переодевались в где-то раздобытые штатские одеяния или казаки — во всё новенькое с разгромленного поезда-состава с английским обмундированием. Раздавали пачками желающим деньги — «колокольчики» — так назывались обесценившиеся купюры, выпущенные Добровольческой белой армией, где была фотография Царь-колокола, находившегося в Москве как музейная ценность. У каждой пристани-посадки на иностранные пароходы грузились «цветные» войска, то есть дроздовские, корниловские, марковские, алексеевские и другие полки. Они имели форму цветную: полуфуражки — красного с чёрным или синего с жёлтым цветов, штаны — чёрные с нашитым сверху цветным лоскутом. Выглядели они в такой форме как тропические ярко раскрашенные попугаи, и от этого-то и пошло их название-прозвище

«цветные». Каждая сотня таких «цветных» войск строго проверенной численности, выдвинув пулемёты поротно, как разъярённые звери, в любой момент были готовы перебить роту, которая решилась бы вне очереди попытаться погрузиться: таков был страх перед красным нашествием.

На моём пароходе посередине стояли также два пулемёта, а за ними — залёгшие пулемётчики, готовые открыть стрельбу по первому нарушившему дисциплину-порядок. Каким образом, не могу понять, появился на мосту к пароходу донской казачий офицер в чине есаула. Ему навстречу бежит марковец-офицер, кричит, что тот не имеет права на погрузку на этот пароход, грозит револьвером. У казачьего офицера на груди два офицерских Георгиевских креста. Этот же поручик-марковец — химический офицер. Так называли всех некадровых офицеров, то есть выпущенных во время революции: в это время трудно было найти серебряный офицерский погон с серебряными звёздочками, поэтому на защитном погоне химическим карандашом проводилась полоска и делались звёздочки — вот откуда пошло их название «химические офицеры». Недолго думая, он двинул дулом револьвера в грудь казака. Казачий офицер не успел схватиться за кобуру своего револьвера и был сбит револьверной пулей поручика («химического» офицера). Падая, казачий герой-есаул успел крикнуть: «Сволочь!» Подоспевшие с парохода марковские офицеры сбили ногами с моста в море казачьего есаула со словами: «Катись, «демократ»!» Этому всему я был лично с братом очевидец.

Потом другой казак, уже далеко от пристани, расседлал своего коня, поцеловал своего верного друга, стреляя в него, а потом — в себя. Тут и там валялись трупы покончивших с собой; трупы офицеров, потерявших всякую надежду на погрузку, единственное спасение от смерти у красных.

Вот один иностранный пароход, нагрузившись до отказу деникинскими войсками, отчаливает. Та гуща людей, которая плотно стояла, упёршись в борт парохода, надавливаемая сзади, сыплется в море, как камни. Кричат, барахтаются, тонут. Никто на них не обращает внимания, и через несколько минут кое-где кое-кто плавает и исчеза-

ет. Всё покрывается морской волной, морской гладью. Но есть ещё те, которые не потеряли веру в человеческую помощь, в особенности калмыки. Он себе надул мокрые подштанники воздухом или схватил доску и прыгает в море, плывёт, имея надежду, что сжалившиеся иностранцы с пароходов подберут его. Были такие счастливчики, которых подбирали, но это единицы.

Насмотревшись на все эти зрелища, пошли обратно в город. Слышали, что назавтра прибудет много иностранных пароходов и что заберут все донские полки. Приходим в офицерское общежитие. Кровати с матрацами — и всё. Шляются пьяные офицеры. Ругань, сквернословие, пищевые отбросы, винная вонь. Время революционное, страшное. Присели мы с братом у одной кровати. Видим нашу дальнюю родню — полковника с женой. Он угрюмый, поседевший и от грозных дней весь посерел; жена его лет на 20 моложе, ничего себе, немножко расфуфырена, смеётся. На этом и расстались и вот по какой причине.

От цементной фабрики Новороссийска с горы спускалась цепь красных, поливая из пулемёта город, где каждая пуля находила свою жертву, так как войск набившихся было 130000–150000 человек. Брат, подавая мне револьвер, сказал: «Конец нам, Миша. После тебя — я». Я ему ответил: «На это у нас время есть. Может быть, пробьёмся к туркам». Тут сорганизовались отчаянно храбрые казаки и офицеры или те, которым с красными не жить. И красных отбила эта наскоро организованная офицерская дружина, а остальная масса войск была аморфная, упавшая военным духом масса. Утром, вернее в два часа ночи, я и брат пошли искать счастья, чтобы погрузиться.

Пришли на набережную. И верно! Говорят, что прибыли несколько пароходов и что будут грузить донские части, то есть полки донских казаков. Донские казачьи полки — все спешенные, кони бродят, есть им нечего. Другой конь к тебе, идущему, тычется мордой, дескать, дай ему сена или воды. Жалко смотреть на этих бедных животных — коней, больших друзей в боевой жизни и в мирной. Пришли на набережную, сыпет негустой сухой снег, толкаемся возле казаков, пробираемся к набережной с надеждой на погрузку. Идут сотни казаков, а за ними нагружённые повозки личных вещей офицерского состава. Один из казаков-

обозников, не знаю почему, предлагает мне, чтобы я положил на повозку мой заплечный английский мешок, что я охотно и делаю, так как он мне все плечи отдавил. У брата, кроме того что на нём, ничего другого не было. Зашумели, заговорили, кое-какие военные бросились за своими вещами к повозке. Я тоже поскорее надел, и мы пристроились сзади к повозке. Приказ разобрать вещи. Офицеры — лично их вещи новые, — в большой суматохе каждый ищет свой багаж. Не найдя моего английского мешка, я, нервничая, залез на повозку и роюсь в мешках. Потерявши надежду найти и не опоздать к погрузке с этим ещё не известным полком, я спрыгнул с повозки. И тут-то за плечами я почувствовал свой мешок и вспомнил, что его ещё заранее повесил себе за плечи, чему очень обрадовался. И мы с братом пошли к строившейся сотне казаков и тихонько пристроились к хвосту.

На нас были нахлобучены папахи и зимние шерстяные шлемы, которые оставляли открытыми только глаза. Конечно, мы ещё больше их натянули на лица, чтобы только глаза были видны. Что полк грузится, не было никакого сомнения. Пробежали вестовые, вызвали всех офицеров, чтобы каждый был узнанным по лицу знающими его казаками, пропуская по одному. Давка, сотни нажимают одна на одну. Казачий дух крепок, все, конечно, строги, по слышащимся разговорам, но всё же чувствуется казачья сила спокойствия. В давке нас разъединили с братом, то есть какой-то казак полка втёрся между нами. По разговорам и по погонам мы поняли, что попали в 18-й Георгиевский Донской казачий полк, бывший Гундоровский, все казаки этого полка — Гундоровской станицы, откуда и это его название, а титул Георгиевского ему присвоили за бесконечную храбрость и боевые заслуги против красных.

Ещё темно, часов пять, всех нас запорошило снегом, всё на нас нахлобучено, подняты воротники шинелей. Подходим к лестнице парохода, вдоль которой с двух сторон расположились шеренгой офицеры полка. Вызывают сотню, потом — по взводам. Казаки идут один за другим, офицеры сотни от взводов проверяют строго каждого идущего казака, поднося к лицу лампы-молнии, чтобы лучше видеть его и убедиться в его личности.

Сжалось сердце! Ну, думаю, не пропустят — застрелюсь здесь на месте. Ребята мы молодые, высокие, стройные, не дурные лицом, в хорошо пригнанных шинелях из хорошего сукна, что в такое время говорило, что мы из состоятельного сословия и, несмотря на окружающую обстановку, были очень чистенько одеты.

Подходит очередь брата, на него посветили, две лампы как-то сошлись. По форме и казачьему одеянию мой брат, как и я, ничем не отличались от других наших дорогих станичников. А посему, посветивши огнём, проверяющие офицеры посмотрели на брата, улыбнулись, брат им откозырнул, отдал честь и прошёл. Идущего впереди меня казака осветили и спросили, кто такой. — «Так я же Яковлев!» Есаул с одной стороны и сотник с другой стороны, смеясь, говорят ему: «Ишь, как закутался — и не узнать; ну проходи, Яковлев». И сразу же лампы на меня: «Кто такой?» Я отвечаю: «Фельдшер полка». — «А! Пожалуйста, проходите». Вслед слышу, что сотник спрашивает у есаула, кто такой, но я совершенно спокойно, не теряя моего спокойного шага, хотя внутренне и волнуясь, поспешил пройти за шедшим впереди меня казаком, сжимаемый идущим уже сзади меня следующим казаком.

Подошли к сходне, погрузили нас на небольшой пароходик, отчалили. Когда были в море, стало рассветать. Было очень хорошо видно, как вошедшие красные били из пулемёта по грузившимся казакам и как набережная мгновенно пустела, там оставались лишь убитые и раненые. Подвезли нас к очень большому военному английскому кораблю, на который мы и взобрались по спущенной для нас лестнице. Этот пароход оказался дредноутом «Emperor of India».

Не успели мы погрузиться, как к дредноуту подошёл небольшой русский военный пароход. Тут тебе сразу англичане сделали немедленный парад в нашу честь и в честь английских моряков. По сходням поднялся генерал Врангель, длинномордый, бледный лицом, в кубанке, а кубанская черкеска шла ему как корове поповская риза. Он приехал справиться, полностью ли погрузился Донской казачий полк. В это время к нему подошёл глубокий старик-атаманец, то есть казак, когда-то служивший в Донском атаманском казачьем полку, стал на колени с

грамотой на голове и во всеуслышание просил помиловать его заблудшего сына. Генерал Врангель сказал, что вина сына тяжёлая, что простить он ему не может и что сын его будет расстрелян. Старый огромный казак рухнул на палубу. Генерал Врангель, откозырявши англичанам, уплыл этим же пароходом. Потом я узнал, что сын этого казака, служивший в Донском атаманском казачьем полку, под впечатлением отступления и так бесславно кончившейся борьбы с красными призывал однополчан захватить, связать всех казачьих офицеров атаманского полка (а в этом полку три четверти офицеров были разного рода князьями, баронами, графами и ничего общего с казаками не имели) и передать красным. Он был окружён офицерским и казачьим сходом и разоружён. Но казак успел рубануть шашкой одного из них — вот его вина теперь в чём. Теперь этот казак-атаманец находился на одном из судов-пароходов, на котором наказанных убивали-расстреливали. Но Врангель-то, Врангель — эта сволочь — сам во всём в первую голову виноват: не он ли повесил кубанского казака, члена Рады, за то, что тот был в партии демократов, а когда его вешали, то Дорошенко сказал, что «коротка верёвочка та всю Кубань стягне». Так и случилось. Узнав об этом, кубанские казаки бросили фронт, повернули своих коней по домам, открывши на большом пространстве фронт, куда полилась красная лавина, захлестнувшая нас, как огромной морской волной, отчего мы не смогли оправиться и вот так плачевно докатились до Новороссийска[17].

Солнце взошло. Не успели мы с братом расположиться под вращающимся большим дальнобойным орудием, как красные с берега выстрелами из орудий заставили «Emperor of India» покинуть порт. Два снаряда упали очень близко от дредноута, фонтаны воды высоко поднялись, английских моряков от этого в два счёта «слизнуло» — попрятались за бронёй.

После отплытия англичане накормили нас гороховым супом и крепким чёрным чаем. Вечером мы выгрузились в Феодосии, в Крыму.

Теперь, лёжа на берегу моря, чувствовали всю горечь пережитого. Казаки полезли в море купаться. В этом месте берег обрывистый, сразу большая глубина. Потом, по-

евши что было, вдарили по гармошке, появились плясуны и начали отбивать казачка, а там запели наши вольные удалые донские казачьи песни.

Приказ строиться. Были ещё какие-то казачьи погрузившиеся и теперь вот разгрузившиеся части. Я и брат представились командиру полка, генералу Долгопятову. Герой-человек! Ему ведь только 25 лет, а он уже генерал и командир этого полка. Брата поставили подхорунжим одной сотни, а мне поручили весь состав Красного Креста полка. Полковым доктором оказалась молодая докторица из донских казачек Гундоровской станицы. Вот так мы с братом стали военнослужащими 18-го Георгиевского Донского казачьего полка.

Крым. 1919 год

«Emperor of India» высадил нас, меня и брата моего Александра, в Феодосии с 18-м Георгиевским Донским казачьим полком. Вначале мы было отбились с братом от полка, так как нас пригласили в формировавшуюся тяжёлую батарею в Керчи, но потом вышел от генерала Врангеля приказ, чтобы все донские казаки были влиты только в донские части, поэтому из Керчи мы поехали в Евпаторию.

Управление Всевеликого Войска Донского направило нас с братом снова в 18-й Георгиевский Донской полк, который формировался в селе недалеко от Евпатории. Спустя неделю меня откомандировали в дивизию, которая располагалась в одной немецкой колонии. Для дивизионного лазарета дали немецкую школу, у двора которой находилась и лютеранская кирха.

В школе встретил нашего фельдшера-выпускника тремя годами старше меня. Он был большой задавала, а ещё больший — его дядя, которого он устроил своим денщиком. Мне же дали в подчинение санитара по фамилии Серенчук. Хороший был человек, в годах, беспокоился обо мне как о собственном сыне. Так вот, имя этого моего коллеги было Модест, а фамилию забыл, да это и неважно. Хотя он и был выпускник на три года старше меня, но в чинах мы были одинаковы и, несмотря на разницу в летах, я был назначен старшим фельдшером дивизионного лазарета. Но я тут был ни при чём, на это назначение не напра-

шивался. Конечно, не спорю, за многим мне нужно было к нему обращаться, особенно по административной части, в чём я положительно ничего не знал, а он человек бывалый, ему было тяжело подчиняться мне. Но как ему, так и мне повезло: мне — повышением по должности, а он, во-первых, освобождался от моего начальства, а во-вторых, был назначен дивизионным фельдшером.

За эти две недели как полковой, так и дивизионной службы ничего существенного не произошло, разве только то что табаку выдавали мало, а кормили неважно — рыбой с запахом чуть не каждый день.

Брата Александра послали в Севастополь, где стоял лейб-гвардии Донской казачий полк. Будучи подхорунжим-инспектором и имея хороший бас, он совмещал две должности — полезное с приятным: днём учил казаков рубке, а вечером на балах офицерского собрания пел своим басом песенки.

Я же от нечего делать каждый вечер с другими молодыми прапорщиками и офицерами тайком от начальства бежал в Евпаторию на гулянье в сад или летний театр, куда за неимением денег мы проникали, порвав проволочную перегородку, а потом ночью шпарили обратно. Вначале было хорошо, но ввиду того что всюду стояли войска, у дорог поставили караулы, и хотя офицеров и военных чиновников и не беспокоили, но знали, кто куда шёл и когда вернулся. И поэтому наши ежедневные гулянья туда и обратно прекратились. Да и времени не было, уставали: поздно ложились и рано вставали.

Большая новость, почётная и приятная: меня назначили секретарём к военно-санитарному инспектору Всевеликого Войска Донского в Евпатории. Управление находилось в большом доме. Моя работа заключалась в том, что я должен был ежедневно записывать входящие и выходящие бумаги, получать в кассе, вернее в банке, деньги на всех служащих Военно-санитарного управления, ездить и получать лекарства, распределять их по заказу и по полкам, смотреть, чтобы доктора и фельдшеры были в подтянутой форме. Это болезнь военных врачей и фельдшеров: если они не выпускники военных академий или военно-фельдшерских школ, то все имели ими не замечаемую тягу носить военную форму как штатскую. А вечером у во-

енного инспектора-генерала — проверка выпущенных указов (я читал, а он проверял), а потом чаепитие, после чего — благо что море было на расстоянии одного квартала — прямо в воду, как днём, так и ночью. Стол был очень хорошим, но находился довольно далеко, так что приходилось два раза в день бегать обедать и ужинать, а завтрак и чай подавались в управлении.

Были курьёзные случаи. Раз получаю в кассе деньги, проверяю — 100 000 рублей не хватает. На эти 100 000 «колокольчиков» можно было купить десяток яиц, не больше. Но сумма остаётся суммой, и за недостачу можно попасть под военно-полевой суд, а там — и под расстрел. Боялся я эти деньги получать, а надо: на то и служба.

Получил накладные, чтобы ехать в Севастополь за медикаментами, дали мне трёх санитаров для их погрузки. Добрались до Севастополя благополучно. В общежитии офицерского собрания дали кровать с тюфяком и одной простынёй: накрывайся шинелью. Хорошо, что своё одеяло имел. Наплыв с разных частей войск и по разным делам офицерства очень велик, чуть ли не каждые два дня жильцы кроватей меняются. В первый же день ходил смотреть с моими тремя казаками панораму защиты Севастополя. Красивая штука. Конечно, впечатления были бы более сильные, смотри мы это в мирное время. Но в военное время, когда сам купаешься в дыму и крови на поле битвы, эта поразительная панорама геройской защиты Севастополя от англичан и французов не отделяет тебя от переживаемых событий, а посему теряет до известной степени свою могучую силу. С тремя станичниками глядя на эту панораму, с удовольствием слушал их рассказы про родственников — участников Севастопольской битвы; эти станичники-санитары были уже люди в годах, верно лет под сорок.

Потом ходили осматривать крепостные стены обороны Севастополя. Обидно и жалко было смотреть на длинные дула крепостных орудий, взорванные и погнутые англичанами, которые в сумятице вошли в Севастополь и под видом того, чтобы большевики не стреляли по ним, всё это взорвали, испортили, потопили в бухте 15–20 наших подводных лодок. И всё это покоробленное сторожил один русский солдат.

Получили медикаменты, в отведённый товарный вагон всё сложили и сами погрузились, постояли так с полчаса, потом прицепили наш вагон к составу, идущему в Евпаторию; рядом был вагон 2-го класса, где мне дали место. И вот мы катим по пути в Евпаторию, а этим временем вспоминаем хорошо проведённые эти десять дней в Севастополе, а также стычки казаков с нашими добродетелями англичанами и французами.

Конечно, на десять французских франков французский моряк получал сто, если не тысячу, обесцененных рублей-«колокольчиков». Ясно, что любой французский или английский моряк был со своими деньгами-валютой богаче не только казака и солдата, но даже любого строевого офицера. И в заключение, эти правительства поставляли нашей Белой армии, конечно в заём, разную рухлядь первой мировой войны 1914-1917 годов и, конечно, НЕ БЕСПЛАТНО. И вот эти воины-коммерсанты с их наглой колониальной манерой, бесцеремонно подходят, скажем, купить помидоры. Казак хочет купить десяток помидоров. В это время подходит француз и от нечего делать, лишь бы поиздеваться, показать свою наглость, предлагает сразу же двойную цену. Ясно, что торговец продаёт ему столько, сколько этот англичанин или француз хочет. У торговки штук 30-40 помидоров. Он закупает их, тут же высыпает помидоры на мостовую и, злорадно что-то лепеча на своём языке, топчет их. Ясно, провокация. Казак не вытерпел и влепил ему. Свалившийся француз или англичанин вскакивает, бежит, кричит. И как всегда, на центральных улицах есть много иностранных моряков, помощь организуется. Вот уже с двух сторон группы в 10-20 человек дерутся — настоящие кулачные драки. Француз и англичанин дует боксом, казак ломит стеной, летят французские и английские шапочки с красными помпонами в воздух и валяются по тротуару, мелькают в воздухе казачьи сапоги с подкованными каблуками. Намащивают тротуары шароварами с лампасами. Вот одному иностранцу-моряку, сбитому на тротуаре, любители-казаки пихают в морду давлеными помидорами, другому пихают его красный помпон. Один из них вырвался, бежит к обрыву и от испуга с многоэтажного каменистого обрыва даёт ручным Морзе знать, что их бьют, и потом бросается в море. Бьют



Михаил Любовин со своим вестовым во время командировки за медикаментами. Севастополь. 1920 г.

колокольчики, играет тревога на военных суднах иностранцев. Вот уже шлюпки в воде с матросами гребут, пристают к берегу. Свалка колоссальная, тут уж бьются и ногами, и ремнями. Вдруг все две стены дравшихся врассыпную, так как комендантские войска по головке упорствующих в драке гладить не будут.

И вот так, тихонько укачиваясь в вагоне, вспоминал я обидные действия иностранцев. На станции, задыхаясь от жары и ночной духоты, вышел на перрон, пошёл посмотреть рядом прицепленный вагон с медикаментами. Всё в порядке. Узнал у начальника станции, что поезд пробудет здесь один час. Много военных расстилают у вагонов на перроне свои одеяла или шинели и ложатся, чтобы свободно поспать. Конечно, я бы мог поспать, растянувшись во всю мою длину, в товарном вагоне с медикаментами, но решил поспать немного на открытом воздухе. Разостлал бурку и завалился на неё, думая, что во всех случаях, если даже поезд и пойдёт (а отходили военные эшелоны очень

медленно, так же, как и шли), то я от стука колёс вагонов сразу же проснусь и успею вскочить в один из вагонов состава, а на следующей станции перейду в свой вагон. С такими мыслями сладко растянулся на бурке и так заснул, что услышать стук колёс проходящих вагонов-то услышал, но — последнего вагона. Схватил бурку и — что есть мочи вдогонку за поездом. Вот уже близко, уже близко от последнего вагона, где привешен красный фонарь с красным железнодорожным флажком. Осталось не больше 2-х метров, и в это время поезд начал набирать скорость, а я — отставать от усталости.

Горечь меня охватила невероятная, когда и этот красный огонь фонарика последнего вагона скрылся за поворотом, то есть пропала моя последняя надежда. Остановился, передохнул и потом пошёл. Шёл, набавляя скорость, думая нагнать состав, когда он будет где-то пыхтеть, поднимаясь на подъём, а может быть, и остановится, чтобы набрать паров, что в то время было частым явлением. И вот с такой надеждой бегу я по шпалам, а поезд где-то уже далеко идёт, пыхтит. Вдруг под самым носом у меня окрик: «Стой! Стрелять буду!» Вот, думаю, что за чудо, кто бы это мог быть. Окрик снова: «Кто такой?» Я отвечаю. Говорит: «Подходи!» Подхожу, в ночной мгле вижу в упор целящегося в меня солдата. Говорю, кто и что я. Объясняю, почему я на полотне, вернее горько жалуюсь. Тогда этот солдат говорит: «Ваше счастье, что вы попали на меня, старого пограничного стражника. Есть приказ всех встреченных ночью на полотне железной дороги бить без предупреждения. Нарвись вы на инвалида наших белых войск, вам был бы конец».

Сказал, что «зелёные», то есть полувоенные красные части пошаливают здесь и что уж не раз взрывали полотно железной дороги. А посему по всему этому участку выставлена охрана и что будет благоразумно сойти с полотна на проезжую дорогу, где никакой охраны нет, и что, может, мне посчастливится и какой-нибудь крестьянский проезжий подвезёт меня до первой станции, куда эта единственная дорога и ведёт. И добавил, что он давно слышал, что я бежал по полотну, стуча сапогами, а поэтому и решил, что бегущий не опасный человек — опасный человек шума не делал бы, — и поэтому не стрелял в меня.

Послушавши совета, свернул на указанную дорогу. Шёл я по ней всю ночь. Утром рано прошёл одну деревню и до самой станции ни одного воза с возчиком не встретил. И пришёл я на станцию часов в 10 утра. И к моей глубокой радости нашёл всех моих троих станичников, стоящих у сложенных ящиков медикаментов. Увидевши меня, они все очень обрадовались, а у меня — невыразимая радость: подумать только, что грозило мне за брошенные медикаменты, попади я в военно-полевой суд! Самое меньшее, что я мог бы иметь, это разжалование в низшие чины и в дисциплинарный батальон на фронт.

Там была развилка железной дороги; поезда шли редко, и нам пришлось ждать ещё один день. Хотя эта станция отдельно стоящая и от скуки можно было подохнуть, но я так был рад находиться рядом с медикаментами! Про то, что я проездил на два дня больше, по приезде меня никто даже не спросил: обыкновенная история задержки поездов того времени, которая никого не интересовала.

Эпидемия холеры

Ходили слухи, что вспыхнула эпидемия холеры. Это подтвердил генерал, военно-санитарный инспектор. Административная медицинская служба становилась мне в тягость, тем более что она походила на полицейскую: смотри за гигиеной всех военных учреждений, пиши рапорты на комендантов этих учреждений, а они все старше меня чином, инвалиды, кадровые офицеры. И поэтому во время первого вечернего чая я тихонько высказал желание поехать в какой-нибудь полевой госпиталь — прифронтовой. Генерал нахмурился и сказал: «Молодой человек, вам, вижу, надоела спокойная жизнь». Генеральша, конечно, ему вторит. Я молчу, и на этом как будто бы всё кончилось.

В тот же день приходит один пожилой фельдшер, рекомендуется, говорит, что у него шесть душ детей и что его хотят послать в помощь медицинского персонала на борьбу с холерой, и что если бы я хотел с ним поменяться, то он с удовольствием поехал бы в прифронтовой полевой госпиталь вместо меня. Такая новость меня не ошарашила, но всё же удивила, что так дело быстро делается. Этот пожилой фельдшер, в переводе на военное звание — капи-

тан, в случае мены службы даст мне 10 рублей золотом и 40 рублей серебром; такие сделки уже бывали, ничто меня не удивило. От его предложений в рублях я отказался, а сам пошёл к коменданту-полковнику и заявил о готовности поменяться с ним службой, так что полковник зафиксировал наши обоюдные желания.

При разговорах я часто слышал, что медицинский персонал боялся быть посланным на борьбу с холерой, и после я убедился, что есть чего бояться. Пожилой фельдшер обещал меня угостить хорошим обедом, но его угнали раньше, чем он думал. А мне сделали в этот же день противохолерную прививку. Мучился я от неё ужасно: меня рвало, катало по полу и под кровать. Утром, измученный, но оправившийся, был я на работе, через две недели получил вторую прививку и поехал. Дали мне пропускной лист, право на две почтовые лошади с возницей, которые я менял на каждой земской почте.

Выехал я днём, вечером приехал в земский постоялый двор. Пока лошадей распрягали, я пошёл к морю, на берегу которого валялись засохшие, разлагавшиеся и свежие медузы тёмно-коричневого цвета в большом количестве. Когда вернулся, солнце уже село, и я, к своему удивлению, увидел свежих запряжённых в повозку лошадей. А хозяин постоялого двора, на мой взгляд с честной физиономией, сказал мне, что лучше выехать и ехать, нежели ночевать здесь, так как другой раз пошаливают зелёные, заезжая ночью сюда, а далеко ли от греха! Я ему ничего не ответил, забрался в повозку и поблагодарил его за добрый совет. Он, идя возле повозки, давал советы своему сыну, что прикупить и захватить на обратном пути из Ак-Мечети, куда я направлялся. Ехали мы спокойно. Я всё время спал, так что с возчиком, человеком лет 30-ти, говорил мало.

Привёз он меня прямо в больницу. Там ещё никого не было, даже больных. Пришёл фельдшер, познакомились. Он смотался к доктору, который жил рядом с больницей в Ак-Мечети. Доктор пригласил меня на завтрак. Докторша — чванная, раскапустившаяся барыня, лечившая себя от всех ведомых и неведомых болезней пончиками с разными начинками и воздушными пирожными, после которых доктор прочищал свои зубы большой загнутой серебряной зубочисткой, мной никогда, нигде и даже до сего

дня (1963 год) не виданной; говорил, что это китайская. Может быть! А так вообще хороший он и смирный человек. Сказал, чтобы я как можно скорее представился здесь местному коменданту, и предупредил, что он кокаинист.

Раскланялся я с ними и пошёл представляться коменданту. Это был есаул, донской казак, инвалид без правой ноги, одурманенный наркотиком. Всех в Ак-Мечети насчёт добывания наркотика терроризировал и с места в карьер полез на меня, что я должен помочь ему в этом, и тогда он для меня чёрта за рога повалит у моих ног — это его типичные выражения. На всякие дела у меня были инструкции, часть которых, — по разговору его я видел, — он знал. Ну в общем, опасный человек.

Дал он мне недурную квартиру у одного богатого крестьянина. Однажды хозяин дома говорит мне: «Господин фельдшер, ради Бога, не обижайтесь, засватал я дочку за сына здешнего старосты. А когда ему пришёл срок идти на службу, то он сбежал к зелёным. Чтобы какого греха не вышло (понимай: чтобы ночью не убили), переходите к нему, то есть к старосте, тогда он будет спокоен за свою невестку, то есть за мою дочку».

Мне показалось немножко странным, что только один раз я видел за всё время его дочку, чернобровую смазливую девушку лет 18-ти. Перешёл я на квартиру старосты. Спать пришлось на скамейке-диване, что было не очень-то удобно. Рассказал я всё это доктору, а он посоветовал мне ни под каким видом не рассказывать это коменданту-есаулу, иначе тот всех их уничтожит. Да я и сам понимал и поэтому к есаулу не обращался. Тогда доктор сказал: «А почему бы тебе не спать в больнице, ведь одна комната 1-го класса всегда пустует». Туда я и перешёл в этот же день.

От радости и этот богатый крестьянин, отец дочки, и староста не знали, как меня отблагодарить: приносили то рыбы, то молока, то мяса — и всё это мне не нужно было, всё я отдавал фельдшеру, у которого было трое детей, а столовался я у доктора, платя ему положенный военный тариф. Да он в нём и не нуждался, ему было приятно болтать целый день со мной, больных почти что никого. По воскресеньям ходили в церковь, и, когда прикладывались к кресту, поп с похмелья всегда на ухо говорил: «Жду сего-

дня на преферансик». В карты я не играл, а посему никогда у него не был.

В один знойный день в море остановилась большая парусная лодка — рыбачья, куда меня вызвал комендант–есаул, что меня удивило, так как был и доктор в Ак–Мечети, но доктор был земский. Поехал, взбираюсь по верёвочной лестнице, по которой мне первый раз пришлось лезть, если не считать случаев в гимнастическом зале. Поднялся на палубу, где меня ждал человек в полуморском костюме, любовавшийся неловкостью, с которой я лез. Это было чистенькое парусное судно, где меня встречавший сразу же попросил посмотреть больного.

Спустился в каюту, состоявшую из комнаты приблизительно 4х4 м, по бокам кушетки, посередине комнаты стол, стулья. Спрашиваю, где больной: хотя через проход комнату было хорошо видно, но с противоположной стороны, да ещё с яркого солнечного света я плохо рассмотрел, что там человек лежал. Мне указали. Когда я подошёл, то увидел лицо, знакомое мне; я не подал виду, что знаю его. Это был лейтенант, думаю, что инженерных или батарейных войск; так как погоны были подправлены химическим карандашом, по выцветшим и полинявшим погонам трудно было определить принадлежность частей войск. В общем, сразу же определил, с кем дело имею, то есть с нашей контрразведкой.

Тот, который меня встретил, говорит мне, не может ли контразведчик при настоящем состоянии здоровья выполнить военную задачу. Больной впился в меня просящими глазами. Я взял пульс. Температура 37,2. Показал, как понял, их спрашивающему начальнику, мол, нет, выполнить какие–либо их задачи он не может. Тогда больной — к старшему: «Вот видишь, Костя (а Костя оказался капитаном), я же тебе говорил, что я не в состоянии». Тот отмахнулся и сказал: «А кто же тогда высадится?» В общем, при разговоре понял, что нужно было сбросить в Очакове контрразведчика. Угостили меня чаем и шоколадом, поговорили обо всём, но только не по службе. И тот же матрос, что привёз меня, свёз обратно на берег.

Очередное задание: поехать в другую часть берега вакцинировать против холерной болезни. Их должно было там быть человек сорок, а когда приехал, их там оказалось при

вакцинировании человек двести. Накормили меня там чудесно приготовленной печёной на жаровне рыбой Чёрного моря. И поехал я обратно. Обратный путь лежал по берегу моря; я должен был заехать отдать отчёт, как живут там беженцы.

Приехал я тихонько, возницу оставил у ворот, а сам, приоткрывши ворота, прошёл во двор. Тут я вижу — человек с цигаркой. Глянул на меня: «Здравствуйте, дорогой станичник». Я ему: «Здравствуйте, а где же вы живёте?» Он мне показывает на сарай, где провалившаяся крыша, а старики, женщины и дети валяются на подстилке из соломы прямо на навозе, и, к моему глубокому удивлению, все они оказались донскими казаками Хопёрского округа. Мужья, сыны и братья их бьются на фронте у Перекопа.

Спрашиваю, кто здесь старший. А вот он, сейчас придёт. Так и есть. Идёт тип с видом барышника. Он был удивлён, что нашёл меня посредине двора. Я отрекомендовался просто: фельдшер Любовин, не говоря ему причину моей поездки к нему. Ему очень хотелось шикануть, в каком он порядке держит имение. Показал домиков десять по три комнаты, все домики пустые. Потом повёл показывать хоромы помещика. Конечно, всё там в золоте и люстрах. Поднялись по лестнице. Он познакомил меня со своими двумя дочками, они угостили меня яблоками, которые я не очень-то люблю; приглашал обедать, но я отказался. Перед уходом я спросил, почему он держит донских беженцев в телятнике. — «Помилуйте, так они же загрязнят там всё». После такого ответа раскланялся с ним; дочки из дверей поглядывали, лет им было по 14–15. Зашёл к станичникам своим попрощаться. Пообещал, что скоро они будут иметь хорошие квартиры, и уехал. Да! Забыл сказать, что кормил он их очень хорошо, каждый день баранина и рыба. Он как будто бы чувствовал, шельма: как я уехал, он их, то есть донских беженцев, сразу же перевёл жить в эти опрятные домики, которые я видел.

На обратной дороге встретил повозку, на которой лежал умерший от холеры татарин. Мой возница распряг лошадь, стреножил, свернули влево на первую попавшуюся дорогу, приехали в село, где вакцинировалось всё население. Здесь же была и больница, куда свозились все холерные больные. Умерших холерных больных закапывали в

могилы, предварительно густо посыпавши известью, повозки и их содержимое жгли, лошадей дезинфицировали карболкой–раствором. Была рота солдат карантинного кордона. Из этого госпиталя я выбрался через три недели, так как один фельдшер, сестра милосердия и человек двадцать селян умерли от холеры. Говорят, что в других сёлах была большая смертность, в особенности в татарских, где гигиена мало соблюдалась, то есть пили сырую воду, ели овощи, арбузы, дыни и так далее.

Меня снова вызвали в Евпаторию. Заехал взять мой вещевой мешок, предварительно всё продезинфицировавши. Ехал я обратно другим путём, не по берегу моря, а где–то посредине, так что весело было — кругом деревни.

По приезде узнал, что коменданта–есаула давным–давно сняли, у рыбаков усилили контроль, этому управляющему имением приказали вести себя немножко лучше с пострадавшими беженцами, а относительно парусной рыбачьей лодки сказали, что двое из пяти погибли чуть ли не сразу по вылазке, так как и с одной стороны, и с другой крепко следили друг за другом.

Живя в Евпатории, работал в той же должности, что и раньше; все ко мне относились с большим уважением. А как же: работая при холерной эпидемии, я был в охваченных ею местах.

Развлечения в Крыму

По окончании служебного дня идёшь купаться на Чёрное море, благо что близко: прошёл две улицы от своей квартиры — и вот оно. А от Санитарного управления — ещё ближе: одна улица. Вода эта настолько приятна, что не вылезал бы: плаваешь–плаваешь и не наплаваешься в этой густой тёплой волне. Ночью, купаясь, бьёшь рукой воду и она вся светится. А вылезая из воды, сам видишь, как по тебе скользят светящиеся линии. В сентябре холодает, однако купаться можно, но вся беда в том, что в это время появляются небольшие чёрные мушки и вдруг по неизвестной причине так ужалят тебя, что вскакиваешь пулей и летишь пулей — такая жгучая боль тебя гонит — и сам не знаешь куда. И вот смешно мне было видеть, как вдруг какой–либо купальщик, лежащий на горячем песке на пляже, вдруг вскакивает и летит голый опрометью ку-

да глаза глядят, и смешно мне было до тех пор, пока сам не перенёс такой укус этой чёрной мушки. Боль жгучая, нестерпимая и в то же время мимолётная. Евпаторийцы хорошо её знают.

Вечером молодёжь собиралась, как и всегда, — молодые новоиспечённые офицеры, военные чиновники и служащие, то есть студенты. И чтобы не вводить при первом знакомстве чинопочитания, сходились у дома кого-то или просто на углу улицы, по казачьему обычаю в станицах, в рубашках цвета такого, какой имел, с босыми ногами. И вот так собравшись, все вспоминали про свой Тихий Дон, станицы, приятное время, проведённые бои. И такая тебя тоска возьмёт по родному казачьему Дону, что сердце сожмётся внутри твоего тела. Потом пели песни. Другие песни, в особенности Хопёрского округа, я не знал, но быстро научился. А часов в 9–10 вечера расходились по домам.

В столовой, куда мы ходили два раза в день, тоже были приятные и неожиданные встречи знакомых, но обыкновенно мимолётные: приезжающий — он же и уезжающий, как всегда, на фронт. И нет ничего удивительного: 70% Врангелевской армии — донские казаки.

Были и другие развлечения, скажем просто гуляние по городу. Наше управление получило несколько контрамарок на бесплатный вход на офицерские балы в Евпатории. Контрамарки лежали на столе, брал их кто хотел, взял и я, но видел, что они ещё лежали на столе и после бала; видимо, не до балов было военнослужащим.

Пошли мы вдвоём туда, то есть в старую Евпаторию. А жили в новой Евпатории, где улицам не давались разные названия, а по-американски звали: 1-я, 2-я и так далее — Продольная и, в таком же порядке, 1-я, 2-я и так далее — Поперечная; всё это выглядело полудачным-полугородским. Начался бал часов в 10 вечера. Народу — не протолкнёшься. Все мужи зрелые. С лысинами, масса во фраках. Такого засилья фраков я ещё никогда ни на каком балу не видел, но не удивляюсь, ведь Евпатория — коммерческий город, где много караимов[19] — еврейского происхождения не еврейской веры, то есть не уважающих талмуда. Бал идёт горой, все эти тузы во фраках дуют шампанское, а ну лопнут — они и без этого надуты: придави — и лопнет он, как насосавшийся клоп. Военных седо-

власых генералов и полковников тоже немало, все за столиками с разодетыми дамами сидят, важничают. Буфет-закусочная ломится от яств — и не дорогих; давка здесь большая. Два военных оркестра по очереди играют, пары танцуют польку, краковяк, мазурку и так далее. Папиросный дым стоит коромыслом, и, как полагается, никакого конфуза — это для школьного возраста.

Но вот управляющий балом, молодой полковник с грудью, увешанной крестами и медалями, лихой марковец, забравшись на стул, сказал, что «состязание» на лучшего казачка сейчас начнётся. Между прочим, донских казаков-то было раз-два и обчёлся. Грянула первая наурская. Кубанцы, терцы, черкесы и все другие в кубанках-черкесках поплыли по залу, косясь, как чёрные коршуны, блестя серебряными погонами и размахивая широкими рукавами, как крыльями птица, носясь на носках, с осиными талиями, с вылощенными, выхоленными физиономиями.

Нет! Не нравится мне всё это. Что-то во всём этом просачивается женское. Тут вот тебе эта юбка черкески, танцы на носках, затянутая по-девичьи талия. Нет! Это не в моём вкусе. На все такие танцы я насмотрелся во время революции и навиделся раньше, но для меня казачок, гопак, трепак и камаринская — незаменимые русские удалые, ухарские танцы вольницы, выражение силы мужчины и его мужественной красоты.

Вот кончились состязания наурской лезгинки. Самые лучшие танцоры и выносливые остались на середине зала. Грянула овационная музыка. Рукоплескания участникам — победителям танцев. Первому танцору в знак отличия прицепили за пуговку погона правого плеча маленький погончик из золота на серебряной цепочке. Второму — тоже такой же погончик, но только из серебра. И всё. Наградили всего двоих; конечно, мало, так как их было танцующих на состязании человек тридцать, осталось пять, двое из них получили приз погончиками, а остальные три — из милых рук красивых девушек по бокалу шампанского под грохот барабанов и громовую музыку военного оркестра. Болтались на плече эти миниатюрные погончики, эффектно придавали военной форме что-то военно-красивое, какое-то военно-благородное удальст-

во. Я с нескрываемым удовольствием смотрел на эти блестевшие погончики в миниатюре и любовался ими.

Теперь будет казачок. Ходим с моим станичником и говорим об этом. Он не из танцующих. Но вот снова поднимается на стул тот же самый полковник и просит всех желающих на приз казачка с вступительной музыкой оркестра начать состязания. Одновременно нас было тоже не меньше сорока человек. Хочу сказать, что я сразу пошёл на это состязание. Какие только здесь не делали ногами выкрутасы! Несмотря на то что я танцевал, это мне не мешало видеть ловкость чужих выкрутасов и отбивание ногами «казачка». Но как-то сразу площадка танцующих стала пустеть. Всё тот же полковник вскочил на стул (я как раз танцевал лицом в его сторону — а танцевали казачка с вольными выкрутасами и во все стороны) и, взмахнув рукой, прокричал: «На присядки!» Думаю, что в этот момент нас было человек 10–12. Все закрутились в вихре. У меня перед глазами мелькали то спины, то ноги, то донские в лампасах шаровары. В момент, когда я носился на присядках, чувствую, что сзади кто-то мне поддал ногою. Сразу, танцуя, повернулся всем телом и вижу бравого, весело смеющегося есаула. Ах, думаю, погоди: раз ты так, я тебе — тем же! И за несколько секунд я оказался сзади него и только чуть толкнул носком его по заду, несясь на присядке с ним вдвоём, как он потерял равновесие и должен был опереться рукой о пол, чтобы не упасть, но этим он вывел себя из числа состязающихся. Выровнявшись из присядки и уходя с танцевальной площадки, он, всё так же весело улыбаясь, сказал мне: «Молодой, а из ранних». Я же продолжал носиться на присядках. Во рту пересохло, тупая усталость начинала сковывать моё тело. Весь в поту, в полном изнеможении, думаю: «Вот не кончу, уйду». Как раз в этот самый момент казачок остановили. Получил я второй приз, то есть серебряный погончик, был очень рад и горд, овации забились в уши мне, как и туш духового оркестра. Кругом улыбающиеся лица, рукопожатия полковника и поздравления всех, конечно не знающих меня, людей.

Полковник просит меня к столику, где жена генерала — командующего гарнизоном Евпатории — желала бы видеть этого молодого великолепно танцующего казачка, донского чиновника. Ничего не сделаешь, нужно идти, а

Развлечение в Крыму

По окончании служебного времени купаться в Черном море. Благо что близко, всего в улице от своей квартиры и вот оно. а от Санитарного управления еще ближе, одна улица. Вода чистая не столько прозрачна что не вылезал-бы, плаваешь плаваешь и не плаваешься этой чистой прелестной водой. Ночью купались [illegible] рукой воду а она вся светится а вылезешь из воды сам видишь как по тебе скользят светящиеся линии. В сентябре холодеет но купаться можно во все года в том числе в это время появляются небольшие прозрачные медузы и вдруг по неизвестной причине так ужалит тебя что вскакиваешь пулей и летишь пулей такая жгучая боль тебя [illegible] и сам не знаешь куда. И вот смешно мне было видеть как вдруг какой либо (купающийся на горячем песку) лежащий на пляже вдруг вскакивает и летит стрелой куда глаза глядят, и смешно мне было до тех пор пока сам не перечувствовал такой укус этой чертовой медузы. Боль жгучая, нестерпимая и в то же время мимолетная. Крымчане-Евпаторийцы хорошо ее знают.

Вечером молодежь собиралась не как и всегда молодые только что испеченные офицеры, военные чиновники и служащие т.е студенты и что-бы не вводить при первом знакомстве [illegible] собирались у дома кого-то или пришли на угол улицы по казачьему обычаю в станицах, в рубашках цвета такого какого были, с босыми ногами. И вот так собравшись вспоминали все про свой Тихий Дон, станицы, прошлое время, проведенные бои и тогда тебя всегда возьмет по родному Казачьему Дону что и жмется внутри [illegible], потом пели песни, другие песни в особенности хоперского округа я не знал но [illegible] научился. а часов в 9-10 вечера расходились по домам.

В столовую куда мы ходили 2 раза в день там тоже были приятные и неожиданные встречи знакомых, но безусловно они были мимолетны, приезжающие то-же и уезжающие и как всегда на фронт и нет ни чем удивительного 7/10 Врангелевской армии были Донские казаки. Были и другие развлечения сходить в синематограф или просто гуляние по городу. Наше управление получило несколько контрмарок на бал, который [illegible] офицерский бал в Евпатории, контрмарки лежали на столе, брал их кто хотел, взял и я, но видел что они еще лежали на столе и после бала, видимо и до бала было военным служащим.

Пошли мы вдвоем, пришли туда т.е в старую Евпаторию (а жили в новой Евпатории где улицам не давались названия а по американски 1-я или 2-я и т.д. продольная, в таком же порядке 1-я, 2-я поперечная, все это было и выглядело полу-дачно, полу городским) но бал

пить, пить убийственно хочется, но никто об этом не думает и в голове этого у них нет. А мне — хоть умирай: так жажда немилосердно мучит. Подхожу, вытянулся по-военному. Полустарушка генеральша вся расплывается в улыбке. Генерал с любезной улыбкой и все с ними сидящие мужи и дамы меня поздравляют, жмут руку. Я шаркаю сапогами по паркету, стучу каблуком, представляясь, и не спускаю глаз со всего того, что напоминает воду, ну

скажем пиво, вино, шампанское и так далее. Тут представляющий меня полковник, руководитель бала, или заметил мой блуждающий взгляд по столу с напитками, или в знак поздравления подал мне бокал шампанского, который я с жадностью выпил. Извинился, что я так выпил, потому что после лихого танца мне ужасно пить хочется. Тогда все бросились с бокалами шампанского, о чём я сразу же горько пожалел, зная, чем всё это кончается. Но ничего не сделаешь, принял ещё один бокал, который распивал уже сидя, удовлетворяя их любопытство, по какому ведомству служу и так далее, и, извинившись, пошёл в буфет, где вдоволь напился сельтерской воды. Еле отошёл.

Где я этот миниатюрный погончик потерял, и сам не знаю, а помню, что по бокам его были вырезаны каёмочки, а посредине что-то вроде стрелки. Да! Где ты, молодость золотая! Хотя и в дыму революции прошедшая, а всё же молодость...

Вечеринки, на которых я бывал в Крыму, случались редко: во-первых, чтобы о них узнать, кто-то из молодёжи деревни должен был сказать, где, то есть в каком доме, она будет. А во-вторых, ввиду военного революционного положения, такого сорта собрания молодёжи воспрещались, а если и были встречи, то спорадические — то там то здесь, быстро собиравшиеся и расходящиеся по первому приказу блюстителя порядка, то есть урядника, или полицейского, или проходящего патруля.

В комнате одного домика собирались девчата и парубки. Толкались у входа в комнату, щипались, девчата смеялись, визжали, тузили тебя безобидно кулачками и поскорее пробивались, удирали в комнату, где садились в одном углу или вдоль стенки на лавку, а когда набиралось много — то и на колена подружкам. Лузгали семечки — и всё это при лампе-молнии — пели песни, моргали противоположно стоящим парубкам-ребятам у стены, которые так же, как и девчата, сидели и стояли тесной группой, курили — ужас как, стремясь показать этим своё лихачество.

В начале вечеринки пели только одни девчата, а под конец все вместе хором — и девчата, и ребята. А если была гармошка (что редко), то тогда бал идёт коромыслом. Какой-нибудь паренёк выбивает сапогами на земляном

полу разные крендели, а если отбивает гопака, то какая-нибудь дивчина, чудесно носясь перед ним, длинным подолом юбки подгоняет пыль в парубков. Иной раз я тоже шёл танцевать, чтобы помериться ловкостью с хлопцами, и, как всегда, выходил из круга с поединка провожавшим меня завистливым взглядом побеждённого, а когда — и злым.

Один раз видел танцующего моряка. Какие он только крендели не выписывал ногами: лазил тараканом, прыгал петухом, стоя на голове, дрыгая вверху ногами, акробатически переворачивался на руках и под конец такого трепака дал! Казалось, невероятно, что так можно танцевать. Да! Нет на свете лучше русского танца, в чём я убедился, странствуя и удивляя иностранщину нашим русским плясом.

Приключения с чирьем. 1920 год

Думаю, что все знают, что такое чирей. Так вот, будучи секретарём начальника санитарного управления Всевеликого Войска Донского в Евпатории, я был послан за медикаментами в Джанкой. Как сейчас помню, вёз меня повозкой до станции крестьянин. Я же ни сидеть, ни лежать, ни ходить не мог, так как, не знаю почему, у самого сфинктера имел чирей.

Дорога была дрянная. От каждой попавшейся кочки повозка подпрыгивала и вместе с ней — всё моё тело, что из-за чирья причиняло нестерпимую боль. При выезде по дороге из Евпатории меня предупреждали, чтобы я был крайне осторожен с деревенскими возницами из Крыма, так как они сочувствовали красным, не говоря уже о том, что кругом кишмя кишели зелёные. А посему я со своим «бульдогом» не расставался. Итак, лежу в повозке на сене на животе второй день, трясясь и мучаясь, так как часть железной дороги, которая проходила в Джанкой, была занята красными — эту захваченную часть железной дороги нужно было проехать стороной.

Возница был крестьянин, на вид человек неплохой, но другой раз как-то так странно смотрел на меня. И видно было, что что-то думал-обдумывал. Конечно, он знал, что я фельдшер, что чин у меня по погонам коллежского регистратора, мне двадцатый год и еду я за медикаментами, то

есть человек мирный, но донской казак, а посему — кто меня знает, что я задумал.

И вот еду, бултыхаясь в повозке и страдая большой болью в животе, так как второй или третий день не ходил по большой нужде. И стало мне невмоготу. Пошёл, сел, боль на месте чирья ужасная. Но вот что-то лопнуло, и покатилась, полилась по телу освобождающая и лёгкая-прелёгкая волна, заливая чувством неописуемого глубокого вздоха освобождения от болезни. Отошёл гной, и легко-прелегко по всему телу.

Вернулся обратно к повозке, но не проехали и полверсты, как вдруг остановился возница и говорит: «Вот что, господин фельдшер, пройдёшь ты вправо с полверсты. И за этой горкой железная дорога, по ней и иди. Вправо будет Джанкой, а в другую сторону — откуда ты пришёл. Так вот, молодой человек. А если хочешь, поедем со мной обратно, так как по дороге там все наши». Повернулся и погнал лошадей что есть духу. У меня багажа — вещевой английский мешок, который мне возница оставил у дороги. Взял я его, посмотрел на удалявшуюся повозку и подумал: «Ну хорошо, что так прошло». А могло быть хуже. И верно: быстро дошёл до железной дороги, а чирей как рукой смахнуло. Но доехать до Джанкоя не удалось — барраж-застава.

На другой день линия железной дороги была освобождена. Подошёл поезд с тремя пассажирскими вагонами и множеством товарных. Мест свободных не так-то много было, но я смог примоститься с краешка на скамейке вагона. Рядом полулёжа спала или, вернее, дремала довольно обеспеченная, в теле, лет 25–30-ти красивая брюнетка, голова которой как будто бы покоилась на своей шали, а в действительности — на бедре прапорщика в годах с солдатской физиономией и выправкой. Против меня у окна сидел беленький невзрачный старичок в чёрном ношеном костюме. Рядом с ним одна дама, жена офицера, которая шумно протестовала, что «эта брюнетка валяется на скамейке вот уже два часа, не стесняясь рядом сидящих». Наконец, видимо, надоело слушать брюнетке такие отзывы офицерши. Она поднялась и сказала, что она сестра милосердия, что два дня и две ночи она была в боях и не спала, перевязывала раненых, отправила их в тыл и вот теперь

едет, чтобы нагнать свой кавалерийский полк. Офицерша спросила её, из какой она части. Тут этот прапорщик сразу же отчеканил: «По приказу Его Превосходительства барона Врангеля названия частей строго запрещено говорить». После такой отповеди все стушевались и замолкли.

Поезд катил медленно. Но вот он засвистел, все встрепенулись, всё затихло, поезд остановился. И вдруг через окно, где сидел человек в чёрном костюме, мы увидели лаву кавалеристов с шашками, преследовавших отступавших. Выскочили они на пригорок и снова ускакали в битве с бугорка. Тянулась эта рубка минуту-две. Убитых на бугорке осталось человек пять-семь. Рассмотреть было трудно издалека, какие были белые, какие — красные, но, во всяком случае, было видно, что это не казаки, а какие-то драгунские части, с подрезанными хвостами у лошадей. Несколько пуль чиркнули по вагону, но там были преимущественно военные люди или военнослужащие, и никакой тревоги в вагоне не произошло. Все взоры были прикованы к кавалерийской рубке, и паникёры карались смертной казнью.

Вдруг этот прапорщик-солдат обращается ко мне: «Скажите, пожалуйста, это красные погнали наших или наши красных?» Я ему отвечаю: «Думаю, что наши; будь это красные, они бы, несомненно, поспешили сюда». Но тут послышались возгласы: «Обоз, обоз!» И все взоры устремились в противоположную сторону вагона. Действительно, неизвестные обозы, линий десять, катились себе вперёд; хорошо, что было открытое поле, то есть кати себе вперёд, ничто тебе не мешает. Дело было летом, дни стояли сухие, солнечные. Скажу откровенно: неизвестно, кто на бугре с кем дрался-рубился, но обозы катились с левой стороны, и это говорило о том, что там отбили атаку наши части. На душе стало легче.

Поезд тихонько тронулся и минуты через три прибыл на небольшую станцию. Кто-то вышел на станции, а я остался у окна и продолжал смотреть на отступающие обозы и на дым сгоревшей станции, где уже побывали красные и откуда их выгнали с результатом рубки на бугре. Потом я прошёл до двери вагона, где и остался, смотря на происходящее. Вижу, по перрону ходят редкие военные, вернее, приближается группа: полковник «цветных» войск, по бо-

кам с ним три офицера в чинах капитана и подкапитана, а сзади три солдата с винтовками «на караул», что мне бросилось в глаза. Но когда они подошли почти вплотную к вагону двери, где я стоял, вдруг появился этот прапорщик–солдат и, пальцем указывая на меня, сказал: «Вот он». Не заметил я его потому, что он шёл почти вплотную к вагонам и не в их группе.

Полковник сразу же обрушился на меня: «Кто вы? Какой части?» Когда я ему ответил, кто я и что я, он мне: «Вы знаете, чем карается распространение паники? Читали об этом приказ барона Врангеля?» Я ему тихонько ответил, что знаю, а сам незаметно назад руку на кобуру моего «бульдога». Думаю: «Нет! Не сдамся, умирать — так с музыкой: раньше, чем меня убьют, уложу несколько». Ну так вот, я полковнику отвечаю, что знаю, и добавляю, что никакой паники я не разводил. «Как, — говорит, — это вы не разводили, а вот прапорщик пришёл и пожаловался на вас, что вы панику разводите». Я рассказал полковнику, как это было. Тогда полковник обращается к прапорщику–солдату: «Что вы на это скажете?» Тот в ответ: «Этот казачий офицер врёт: он наводил панику».

Тогда полковник говорит мне: «Кто может подтвердить ваши показания?» Я не успел собраться с мыслями, как сзади меня кто–то сказал: «Я». Полковник ему: «С кем имею честь говорить?» В том человеке я узнал старичка в чёрном штатском костюме, сидевшего у окна. А отрекомендовался он полковнику: «Сенатор такой–то». Фамилию я его не только не помню, но и прослушал в такой передряге. Полковник проверил его бумаги, выслушал в его точной передаче наш с прапорщиком разговор и, не пожимая сенатору руки при прощании, повернулся к солдатам, стоящим сзади нас, и сказал: «Взять».

Вмиг солдаты окружили прапорщика, и все пошли обратно к ещё дымящейся сгоревшей станции. Я как был у двери вагона, так и остался, с утихающим беспокойством. Но ещё не полностью удостоверился, что всё это благополучно прошло, как по вагону пошёл слух, что кого–то повесили на станции. Публики, кто пошёл смотреть на такое зрелище, оказалось мало. Я спустился из вагона, и моё предчувствие говорило: «Это, несомненно, его. Иначе зачем бы его нужно было арестовывать?» И, подойдя на рас-

стояние двух вагонов, убедился: повешенный был прапорщик-доносчик, ему даже и погон не сняли. А когда поезд медленно проходил мимо ещё дымившейся станции, он висел на крючке фонаря, привязанный бечёвкой. Да! Есть же такие люди, которые наживают себе блестящие погоны, чины, полоски, звёздочки... И чем? — смертью невинных людей.

На этой станции мы пробыли не больше 10-15 минут, а сколько произошло треволнений! И вот его угробили. Жалко, конечно, человека: какой бес его нёс с кляузами! Он, видимо, не одну невинную жертву свёл к праотцам. И от всего этого на душе и на сердце остался тяжёлый и горький осадок.

И зачем эта война, и к чему все эти войны, кому они нужны? Вот я, хотя и донской казак и за это время много видов видывал, но я люблю человечество, уничтожение себе подобных себе подобными нахожу недопустимым, бесчеловечным. Вот и тебе, мой сын Святослав, завещаю: будь человеком, никакой и нигде тебе войны не нужно. И на земле умные люди должны сделать так, чтобы войн никогда не было — ЭТО ЗЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

Так вот, качу я себе по железной дороге и не помню, сколько дней и ночей я ехал, только знаю, что приехал я в Джанкой ночью, а до этого всяких остановок в пути у села, у местечка, взад-вперёд не пересчитать, но доехал-таки. Когда слез (конечно, не на станции), то сразу услышал орудийный гул, снаряды рвались в городе, но не сзади, а впереди меня. Несмотря на ночь и снаряды, которые начали рваться теперь над головой, я у всех встречных и поперечных начал спрашивать, где находится такая-то улица и там Главное военно-санитарное управление. Тут меня начали убеждать, чтобы я пошёл обратно, так как город почти окружён и его, несомненно, сдадут. А говорили это раненые казаки и солдаты, лежавшие у полотна железной дороги и ждавшие отправки, не зная, что за всякое непослушание, а тем более за невыполнение приказания, грозит расстрел.

Конечно, о случае с прапорщиком я давным-давно забыл, как и о чирье, и в голове у меня было полностью только то, чтобы получить медикаменты — и обратно с ними в Евпаторию.

С артиллерийскими разрывами я ясно услышал ружейную трескотню. Свистящих пуль ещё не было, но крики «ура!» как наших, так и красных, хотя и отдалённо, но всё-таки стали слышаться. Ну, думаю, делать нечего, гони, Миша, обратно. И в это самое время вдруг показались из-за угла какие-то войска: идут посередине улицы, чётко отбивая шаг. Кое-какие электрические фонари освещают улицу. И что я вижу?!! Донские казаки, которые формировались и пополнялись донской учащейся молодёжью как из Новочеркасска, так и из других донских казачьих училищ! Ребята меня тоже туда тащили, но я предпочитал быть военным чиновником, нежели офицером. Довольно нанюхался, хватит; и без этого тебе грозит фронт.

В это время их остановили и меня тоже и спрашивают, где станция? Я отвечаю и, в свою очередь, спрашиваю офицера, есть ли юнкера из Новочеркасска и могу ли я с ними поговорить. Офицер говорит, что всё это можно, рад видеть своего донского и просит, чтобы я их провёл до станции, а предварительно позвал несколько юнкеров из Новочеркасска. Прибежало юнкеров человек пятнадцать и чуть не все на меня: «Тю! Мишка! Откуда Бог привёл?» И пошли и пошли разговоры. Но офицер, убедившись (конечно, там были все офицеры Юнкерского училища или преподаватели), что меня они знают, поставил из них впереди человек пять, и я их повёл. Вернее, они сами лучше меня знали, но это, так сказать, более для точности.

По дороге узнал, что они прямо с боя и что идут грузиться, а там — в Севастополь на продолжение учения. Я не знал, где находится станция, так как выгрузился, не доехав до нее. Теперь у меня были уважительные причины: раз юнкера отступают, сдают Джанкой, значит, все какие-либо военные учреждения, несомненно, в своё время эвакуированы, в том числе и Военно-санитарное управление, что на самом деле и было. Я спросил, не могут ли они меня взять как фельдшера вплоть до Севастополя. Директор Юнкерского училища охотно согласился на это, видя во мне донского казака, старого партизана, военного фельдшера, да ещё хорошо знаемого юнкерами. Не на станции, а опять-таки ниже станции погрузились. Кругом по бокам опрокинутые вагоны, чтобы дать выехать юнкерскому составу.

Выехали. Орудийный гул и ружейная трескотня сменились отбиванием вагонных колёс. Вагоны 2-го класса, едем не особенно быстро. После всяких разговоров и воспоминаний об оставшихся родителях, знакомых, хуторах и станицах и так далее тихонько всё угомонилось, а мне есть очень захотелось, но с собой ничего не было. Когда спросил у одного знакомого юнкера, нет ли чего поглодать, то он сказал, что по выходе из боя их накормили и что никто ничего с собой не имеет, но побежал спросить у дежурного офицера разрешения мне поесть. Дежурный офицер сказал, что это не время еды, но всё-таки сделал для меня исключение, и юнкер принёс мне одну английскую галету и солонину. И хорошо, что я поел: будущее это подтвердило.

Думаю, что выехали мы часов в 10 вечера, но приблизительно часов в 12 ночи вдруг поезд остановился. Приказ вылезти из вагонов, а потом — «в цепь, ложись, к бою готовься». Тут пули начали цокать по вагонам, но откуда бьют, кто бьёт — никто ничего не знает. Во время, когда юнкера залегли у вагонов и ждали: или идти в атаку, или отбивать атаку, — мне один офицер принёс ящичек с перевязочным материалом и предложил или расположиться с другой стороны вагона, или тут же в вагоне; я выбрал последнее. Офицер сказал, что доктор находится в переднем вагоне состава, но мне не пришлось с этим доктором познакомиться.

Полежали так минут десять, снова погрузились. Потом рассказывали, что это были зелёные, то есть сочувствующие красным. В таких частях зелёных были сбежавшие коммунисты, евреи, преступные личности, солдаты-дезертиры, и белые — как казаки, так и солдаты-русские, и другие, желавшие этим искупить свою вину перед победителем.

Не знаю, сколько времени мы ехали, но вот снова остановка. Выгрузили всех, и вдруг пошёл слух, что дальше не поедут, что где-то красные прорвали фронт и что юнкера идут затыкать дырку. Дошли мы до какой-то деревни; войск набито в ней до отказа. Говорят, что красные находятся на Арабатской стрелке, но можно прорваться. Юнкеров гонят к каким-то озёрам, набирают от каждой части пулемётные команды для прорыва на тачанках. Никто

не желает дать своих медицинских работников: докторов и фельдшеров по пальцам сосчитать можно. Обо всём этом я уже позже узнал от командира, донского казачьего есаула прорывной казачьей пулемётной группы. Ввиду того что я приставший к юнкерскому училищу, меня туда и закатили.

Делать нечего, взял я свой вещевой английский мешок и жду. Вот подкатила пулемётная тачанка, на ней пулемёт, четыре казака и, к моему удивлению, одна женщина. Это была жена есаула. Выехали впереди всех. Луна светит. Оставили нас последними с двумя пулемётчиками, а сами покатили вперёд. Мы едем потихоньку сзади. Вдруг пулемётная очередь, и всё затихло. Оказывается, прорвавшихся красных было мало, и мы нарвались на их заставу, которая после обстрела и перестрелки ушла, а мы первые катили остаток ночи и весь пасмурный и холодный день по этой гиблой Арабатской стрелке и к вечеру прибыли в маленькую деревеньку старого Крыма. Потом все окружённые белые войска бросились по этой стрелке, и говорят, что там был кошмар. В эту же ночь наехало столько отступающих войск, что утром тяжело было выехать со стрелки.

Мелитополь

Вот мы в Мелитополе, все улицы запружены войсками. От нашего прорывного пулемётного взвода ничего не осталось, так как каждая пулемётная тачанка вернулась в свою часть. Есаул же предложил мне остаться в их части, которая была тоже сборной. На вид у есаула была морда «жоржика», то есть пижона — важная кислая харя; а жена его, наоборот, лет под тридцать красивая дама, хотя и толстушка. За мужа — в огонь и в воду. Другого выхода у меня не было, тем более, казаки рассказывали про есаула с заключением, что пуля его ждёт.

Часов в пять вечера (мы ещё стояли на улице) приходит ко мне казак, вестовой, которого мне дал есаул, и говорит: «Господин фельдшер, в городе, сказывают, спиртной завод разбили казаки, пьют что есть духу. Разрешите ведёрочко взять, а то они, как оглашенные черти, мою цебарку из парусины раздавят, а спиртику всегда надо». И какой русский человек не пьёт его?

У нас был казанок эмалированный с крышкой, в котором варились и кипятились медицинские принадлежности. «Ну, — говорю ему, — бери». Он и помчался. Но вот откуда ни возьмись есаул: «Где ваш вестовой?» Я ему говорю: «Пошёл спирт искать». «Как, — говорит, — вы попускаете расхищать государственное добро?! Так за это я вас могу под суд и расстрелять». Ну, думаю, попал как кур в ощип. Тогда я ему отвечаю, что он прав, но я ничего государственного не расхищаю, а спирт мне крайне нужен для моей медицинской деятельности. Но он ушёл с тем, что обещал отдать меня под суд. Тут прибежала его жена и давай меня успокаивать, что её муж просто погорячился.

Вот явился казак с пустым ведром, о чём я горько пожалел: вот и умереть-то придётся не выпивши. Не знаю, передала ли она ему мои слова, так как я в то время кроме воды ничего другого не пил. Казак рассказал, что шла чуть ли не битва на заводе за спирт. Напившихся пьяных топчут, есть уже затоптанные мёртвые, а также и те, которые, напившись, утонули. Послал казака с казанком к есаулу отдать отчёт.

Все части передвинулись на одну улицу, как и мы. Улица упиралась в небольшой полукруг с постройками магазинов. Слышу шум. Дай, думаю, пойду посмотрю, что там. Вижу, громят магазины и через разбитые окна выбрасывается мануфактура и всё такое, а также волнами вваливается и вываливается толпа солдат с охапкой мануфактуры. Тут подбегает шелудивенький какой-то генералишка и с ним один офицер, револьверы в руках, с криком: «Что же вы смотрите, господа офицеры, становитесь рядом, не выпускайте никого, арестовывайте каждого с мануфактурой». Волей-неволей пришлось встать в ряд и задерживать грабящих. Генералишка послал своего офицеришку-адъютанта за помощью. Арестованных набралось человек двести, между ними были и офицеры. Один из этих офицеров (не казак) подошёл и смеётся, говорит: «Мне можно в ряд». Я посмотрел: по бокам все улыбаются; он встал в ряд. А потом он — тихонько спиной в гущу обступавшей нас массы военных... Ну в общем, из двухсот только и осталось несчастных пять человек солдат, которых этот шелудивый генералишка с его комендантской частью для примера и расстрелял.

По приходе моём к своей тачанке мой казак–вестовой говорит мне, что он спрятал в тачанке под сено большой кусок полотна. И ввиду того что у меня уже с есаулом была стычка приблизительно на этой почве, я сказал казаку, пусть он спрячет к кому–либо, а по выезде из Мелитополя себе возьмёт это, что он и сделал.

Дали приказ быть готовым к отъезду и чтобы все были на местах. Вдруг появляется этот шелудивенький генералишка, что–то кричит на всю улицу, и вот командиры с тремя-четырьмя офицерами начинают шарить по всем повозкам. Конечно, почти что всюду находят, но кто виноват? Всех пулемётчиков, а вернее пулемётную команду, не расстреляешь. Подходят к моей повозке и, в первую голову, мне говорят: «Вы отвечаете, если что найдут». Конечно, ничего не нашли. Есаул, ни к кому не обращаясь, говорит: «Улизнул». И добавляет: «Вы подстрекаете на грабиловку, отпуская арестованных». Спорить нечего, я молчу, другие офицеры смотрят на меня и сочувственно смеются.

Подъехали к Симферополю опять ночью и прямо к станции. Тут я встретил снова донских юнкеров, но в этот раз они не так были оживлены молодостью — от битв устали. А я на старых правах погрузился к ним в поезд и вечером приехал в Севастополь.

Севастополь

Как ты знаешь, я там, в Севастополе, уже был и вот теперь приехал и на станции встретил одного из лейб–гвардии Донского казачьего полка. Он легкораненый, отказался от погрузки. Рассказал мне, что мой брат Шура ранен в руку в том же бою, что и он, и дал мне адрес госпиталя в Севастополе, куда я и пошёл искать брата.

Госпиталь нашёл. Внутри него горит одна лампочка, тишина. Вхожу в вестибюль. Вижу, идёт навстречу милосердная сестра. Спрашиваю, не знает ли она случайно раненного в руку подхорунжего лейб–гвардии Донского казачьего полка. Отвечает, что знает и что всех раненых сегодня днём погрузили на пароход «Ялта», в том числе и брата. Теперь я со спокойной душой пошёл грузиться сам.

Зная погрузку в Новороссийске, ожидал и здесь того же самого и приготовился к этому. Иду. Ночь тёмная, кое–где покачиваются повешенные генералом Слащёвым. На дру-

гой улице, спускающейся к набережной, кое-где валяются трупы — одни посредине улицы, другие у тротуаров. Вот два человека; не сказал бы что идут крадучись, но, во всяком случае, ведут себя как-то подозрительно. Иду я посередине улицы. Вдруг один из них продвигается к середине улицы. Тогда я перехожу на сторону, где никого нет. Слышу: «Что? Прячешься? Боишься?» Я ничего не отвечаю, сжавши «бульдог» в кармане наготове. Чтобы боялся? Нет! На следующей улице нагоняю человека в военном, в погонах, рука правая на перевязи, в левой револьвер; стоит. Спрашиваю: «Что стоите?» Он мне показывает револьвером вперёд и говорит: «Вон там три субъекта спрятались у ворот и ждут меня, а с левой стороны труп, видимо ими убитый». Присматриваюсь, но ничего не вижу: темно. Тогда раненый офицер говорит: «Пошли». Я ему: «Идём». Гулко слышны наши шаги.

Так! Три человека выходят из подворотни и без шуму пересекают улицу, а мы продолжаем путь. Но вот первая улица, запружённая беженцами. Мы с силой упорно протискиваемся. И так с пол-улицы, затем интервал 15–20 метров. Снова гуща людей, но тут стоит офицерский дозор из шести человек. Говорят, что никого к себе в группу не принимают и что мы должны вернуться в свою группу, из которой мы только что пришли. Тогда раненый офицер грозит стрелять, обзывает их «тыловыми крысами» и так далее. И наконец, они сдаются, разрешают нам остаться в их группе, но чтобы мы были в ней последними. Конечно, мы согласились. Тогда он мне говорит: «Наматывайте носовой платок на руку». Что я и сделал, то есть теперь мы как бы оба ранены. И верно: у него кровь выступила на локте, что нам дало возможность пробиться сторонкой между куч узлов, чемоданов, спящих детей, женщин, пожилых мужчин. Когда мы вошли в голову группы, то что мы увидели, нам дало маленькую — почти ничтожную — надежду быть погружёнными на пароход за границу.

По спускавшейся горе вплотную к какому-то океанскому пароходу стояла сплошная компактная толпа, а у самого причала и по всей набережной такая же, если не больше и гуще, толпа народу. Справа горел интендантский склад в пять этажей; сердобольные уже рассказывали, что гене-

рал Май-Маевский с горя застрелился и что где-то там, у причала на набережной, валяется.

Всё это хорошо, но вот как пробраться к пароходу? Внизу, где горело интендантское здание, среди густой массы людей было какое-то пустое место. Мы спросили, почему это место пустое. Офицеры из застав нам сказали, что там каменный вертикальный обрыв, и дали нам свободу подойти к нему. Когда мы подошли, то через каменный барьер в кромешной тьме кроме переднего немного покатого обрыва ничего не было видно. Я посмотрел на своего спутника, он на меня. Знались мы, как ты сам понимаешь, и познакомились молодыми, беспечными, с боевыми улыбками. Ему было, может быть, 23–25 лет. Он выбрал этот немного покатый обрыв, а я чуть левее. Внизу я видел большие каменные валуны. И вот, перекрестившись, перелез через парапет, тихонько опустил ноги, потом спиной на локти, сорвался и пошёл вниз.

Как я и сколько раз я там летал ночью по камням — не знаю, но встал в том месте, где брала начало набережная. Конечно, меня предохранила шинель, а сверху бурка, в которую я завернулся. Когда встал, осмотрелся, почувствовал боль во всём теле. Посмотрел туда, где должен быть мой спутник, но в том месте никого не было и оттуда ничего не слышно: видимо, он разбился.

Подошёл к людям, стоявшим самыми последними на набережной у парохода. Хотел было сунуться вперёд, но меня сразу осадили локтями. Ничего не осталось как смертно долго ждать, когда подойду к заокеанскому кораблю. Вот так стою и с жалостью в сердце любуюсь с надеждой на пароход. Вдруг через гущу людей пролазят четыре французских матроса. Не доходя до меня, стараются поднять что-то большое, круглое, крепко затянутое; и не могут поднять. Тогда они просят как жестами, так и французской речью помочь им. Но суди сам: кругом гордый, высокомерный офицерский состав, да к тому же, кому помогать? Матросу, то есть ничего не значащему солдату, да вдобавок быть каким-то носильщиком! Такая служба уму царского офицера непостижима.

Но я по-казачьи сразу смикетил, что таким образом, возможно, доберусь до самого парохода, и сразу подбежал помогать тащить им этот зашитый кожей узел. Вначале

крепко силился помогать, а потом крепко силился, чтобы меня не оторвали мужи, догадавшиеся, каким быстрым и верным способом можно добраться до борта парохода. Этот кожаный узел уже шёл на руках над головами, а я, уцепившись двумя руками за верёвочную ручку этого кожаного узла, плыл по головам толпы и опустился у самой сходни заокеанского корабля.

По новороссийскому опыту зная, как опасно быть у борта парохода, я старался зайти за деревянную сходню. В случае чего при давке можно подпрыгнуть или просто ухватиться за неё, если волнующимся морем ударит, когда отчалит пароход. А вот если стоишь у самого борта, то, когда пароход отчалит, от удара или волной, или давящей толпой крайняя публика валится в море между бортом парохода и набережной. И потом, когда пароход по инерции или канатами снова причаливает к набережной, упавшую публику давит, как червей.

Так вот, теперь я буду одним из первых при начале погрузки. После того как я дошёл благополучно с этим кожаным узлом до борта-лестницы парохода, погрузка началась очень скоро, и, хотя я стоял одним из первых, нашлись всё-таки такие ловкачи, что погрузились раньше меня. Но тут один стоявший на трапе закричал: «Раненых — вперёд!», и два или три человека сразу дали мне пройти вперёд на трап.

И вот я на заокеанском корабле на палубе. Здесь и рассмотрел себя. Руки избиты, поцарапаны, все в крови. За ухом ссадина, другое ухо оцарапано. Под разбитым носом и, видимо, на носу — кровь. А обвязанная правая кисть руки целёхонька, только вот носовой платок грязный. Слава Богу, теперь я на пароходе.

Эвакуация из Крыма

«SIAM» — это шхуна водоизмещением в 10 000 тонн. Её взяли французы у немцев на покрытие расходов войны 1914–1918 годов и переделали в полупассажирский заокеанский пароход. Так вот, поднявшись на него одним из первых, я сразу же расположился на палубе, так как в трюм не захотел спускаться, вперёд зная, что там будет невероятная духота, да и в случае чего всегда можно прыгнуть через борт, а плавать я хорошо умею. Так вот, в чём

был, то есть в шинели, подложил мой жидкий английский вещевой мешок под голову и завалился спать, накрывшись буркой. Во сне слышал, что кто-то хотел положить мне что-то на ноги, но я упрямо всё это отбрасывал, защищая моё место. Вдруг слышу шум, крики: «Прощай, Россия!» Открываю бурку и вижу Севастополь как на ладони: пароход выходил из порта.

Столько мне суждено было перенести на военной службе; страшно надоело слышать трескотню ружейную и пулемётные очереди, глухие гулы орудий, валяться, спать в грязи, находиться вечно в передвижениях и быть начеку: вот-вот убьют. И тут я вижу, что всё это, как сон, проходит, и присоединяюсь к прощающимся с Россией. Какой-то человек в штатском, не обращаясь ни к кому, говорит: «Вот теперь мы покидаем Россию и как бы с радостью. Но пройдёт не так много времени, и мы горько будем вспоминать о нашей матушке России». Впоследствии и подтвердилось его верное слово.

Когда вышли в открытое море и немножко успокоились и приутихли, меня спросили окружающие пассажиры, кто меня так избил, исцарапал и вывалял. Пришлось объяснить. Никто, конечно, этому не удивился, так как каждый перенёс животный страх быть оставленным на берегу и беспощадно расстрелянным.

«SIAM» быстро шёл, перегоняя другие идущие пароходы. Пароходы русские, нагружённые до крайности войсками, отступавшей частью народа, — это старые как военные броненосцы, так и пассажирские пароходы, отслужившие свою службу; их тащили на буксирах. Потом проскакивали всякие лодки, лодчонки; все они были набиты убегавшими людьми до отказа. Как они могли так ехать по такому большому Чёрному морю? Но как говорится, у страха глаза велики.

Нас на «SIAM» было погружено 6 000 человек, свалка колоссальная. Уборной из парусов с четырьмя отверстиями в море для всех желающих опорожниться было недостаточно, очередь тут большая, и нужно было ждать не меньше часа. Дамской уборной не было, так что дамам пришлось сидеть рядом с мужчинами. Скандал. Конечно, старались заходить по паре женатые, а потом по выходе холостяки или же партии дам, но это нисколько не уменьшало числа

желающих. Так что ночью, спустивши штаны и перелезши через предохранительную металлическую решётку, опорожнялись в море. Экскременты, прибиваемые воздухом идущего корабля, разбивались о борт корабля, залетали в люки, что делало невозможно нестерпимым воздух. Комендант парохода генерал (не помню его фамилии) издал приказ, чтобы всех таким образом облегчающихся сбивать прикладами в море.

Окружающие меня были все военные с жёнами, детьми, из наградного отделения, то есть оттуда, где проверяли наградные листы на Георгиевские кресты и медали и тому подобное. Да вообще кругом была почти вся важная и богатая севастопольская или тыловая публика, которая в сущности-то и революции не видела и не знала, а всё в бегах была. Выдали всем по одному стакану тёплой, мутной, затхлой воды, а так хочется пить! Привязали котелок, достали морской воды и, зажмурившись, выпили по полстакана, чтобы хотя охладить горящую от жажды глотку и утолить желудок. Матушки мои! Через некоторое время появилась морская буря в желудке с прибоями и отбоями нестерпимой боли и желания опорожниться — хоть пускай в штаны. А очередь до сортира большая, хотя французские матросы и увеличили сортир на два места для дам с перегородкой от мужчин. Хорошо, был вечер, вернее крепко потемнело. Я штаны долой, перемахнул через решётку; держась руками за неё и упёршись ногами в борт парохода, выпустил в море, что из живота рвалось. А как глянул под ноги, а там взметённая, взбаламученная, синяя с белыми гребнями, разбиваемая носовой частью корабля, бешено катилась морская волна. Аж дух перехватило — так ужасно стало!

Подсвечиваемый редкими электрическими лампочками и поэтому почти погружённый во мрак, пароход давал возможность так сходить в сортир, но это же давало возможность и военным, строго наблюдавшим за чистотой и порядком-гигиеной, быть беспощадными к нарушителям. И я почувствовал что-то, сразу перемахнул назад через решётку, и, застёгивая штаны, увидел у себя перед носом солдата и юнкера с винтовкой. Но привязаться они ко мне не смогли, ведь я мог приводить мои штаны в порядок. Подойдя вплотную, они посмотрели на меня, засмеялись.

В это время подходят ещё двое — кадет и солдат. Кадет говорит им: «Вот сволочь, еле сбили — так крепко уцепился!» И все вчетвером пошли дальше, проверяя борт парохода.

Через два дня — ходи в сортир столько хочешь, очереди никакой, так как эти два ни кусочка хлеба не дали, кроме как по одному стакану той же затхлой воды, так что весь народ корабля, освободив свои желудки-животы от вывезенной русской пищи, голодает, сортиры пустуют. Выдали по полпачки папирос. Я не курю. Выменял у одного полковника с женой на табак кусок хлеба. Все эти тыловые крысы жрали тихонько украдкой ночью, а нам, фронтовикам, оставалось полоскать этой прогорклой водой желудки.

Приехали в Константинополь, встали на рейде. Утром увидели грандиозную панораму прибывших, бежавших из Севастополя пароходов, битком набитых людьми. К вечеру выдали по одной галете, по полкоробки мяса и снова по полпачки папирос. Мясо сразу съел, папиросы выменял на галету у одного штатского.

Утром сказали, что можно на открытом листе бумаги написать на любой русский пароход, стоящий в порту в Константинополе. Писать так:

адрес: пароход .... (такой-то)
содержание: нахожусь на пароходе ....(таком-то)
№ группы, чин и фамилия

В это время всех пассажиров разбили на группы по 20 человек (в это число входили мужчины, женщины и дети). Старшим нашей группы был один полковник из наградного отделения, хороший и сочувствующий человек.

Зная, что брат Шура находится раненым на пароходе «Ялта», я туда послал не меньше четырёх листков-писем, а также и на другие пароходы, которые везли исключительно раненых воинов, но, к моему глубокому сожалению, ни одного письма от брата Александра не получил, хотя после от него узнал, что он от меня их получил и знал, куда наш пароход «SIAM» был назначен везти нас, то есть в Югославию. Таким образом, и он стремился по выздоровлении в Югославию, а объясняется это тем, что легкораненых сгрузили с «Ялты» и перевезли их за Константинополь в английские бараки Красного Креста, откуда он, выздоро-

вевши, приехал, ища меня, в Югославию. Но об этом после. А ранен он был в конной атаке. Пуля вошла ему в левую руку, в кисть, и застряла под кожей в ладони. Там, в Константинополе, его оперировали, а по выздоровлении посадили его на пароход, везущий беженцев, военных и других, направленных в Югославию.

Кормят ужасно, голодаем, но спорить нечего, ведь вся белая армия скопилась на рейде Константинополя. Вместе с жёнами, детьми, штатскими, говорят, было 150 000 человек. Стоим на рейде вот как неделю, голод большой. Подошёл красивый турецкий пароход, пришвартовал к «SIAMу», играет русская духовая военная музыка, раздающаяся из граммофона; приглашают вернуться на нём обратно в Россию. Простоял с полдня, а желающих был один молодой офицер с женой и всё; с ними, то есть с двумя людьми, этот пароход и ушёл.

Есть хочется, ой как хочется. Вот подходит квартирмейстерский пароход, приглашают разгрузить с чем-то ящики, а в вознаграждение выдадут по четыре буханки хлеба. Все крутом важные и гордые офицеры, а где уж там штатские — все адвокаты, купцы и коммерсанты, то есть народ буржуазный, едет с деньгами и заготовленной провизией или на доллары покупают каким-то образом пищу в Константинополе. Я решаюсь, голод не брат, а за мной ещё четверо молодых холостяков-офицеров. Нас провожают неодобрительные возгласы большого числа военных и их дам: дескать, пачкаете достоинство русского мундира. А мне вдобавок как донскому казаку кричат «Чига!» (это прозвище донских казаков), «демократская дрянь» и всё в этом духе.

Ну мы спустились на этот пароходик и по трапу должны снести небольшие ящики к нам же на пароход. Мы с одним офицером поднимаем ящики, кладём их на спину-плечо и идём по трапу вверх. Последним остался я. Два турка подхватывают ящик, грузят мне на плечо. Ящик не особенно тяжёлый, но я от недельной голодухи довольно слабый, хотя и ел по одной галете и полбанки мяса, и к тому же не привык к физической работе. А тут ещё нужно идти по шатающемуся трапу. У третьего впереди меня идущего офицера вдруг ящик вылетел в море (а нести их было с непривычки крайне неудобно: одной рукой держи на плече

ящик, а другой, поднимаясь, держись за перила шатающегося трапа). Трап у меня загулял под ногами, теряю равновесие, ящик валится сзади меня, разбивается о приступки, оттуда показываются запасные дула для пулемёта «луис», которые тоже валятся в море.

Как впереди офицер, не удержавший свой ящик, так и я крайне смущены, а тут ещё выкрики и насмешки как военных, так и дам, нагнувшихся через палубу и развлекающихся спектаклем нашего горя. Но турки с парохода нас усиленно ободряют гримасами их лиц, а также руками, предлагая снова взять ящики. Ящиков было 30–40, и мы их скоро потом перенесли на корабль, где их снова французские матросы снесли куда надо.

Заработанный в первый раз в моей жизни хлеб, да ещё физическим трудом, для офицера, то есть военного чиновника Русской армии, был, откровенно говоря, стыдом. Но голод не брат. Взяли мы по пять приготовленных буханок хлеба, а тут нам турки ещё предложили в открытом большом деревянном ящике и галет. Так, Господи, кто же отказывается от такого добра! Вначале я нагрузил галетами полностью все мои карманы. Турки ничего не говорят, смеются, подбадривают: бери, мол, сколько хочешь. Я расхрабрился и начал набивать их за пазухи. А когда мы набили пазухи, то я раскрыл ширинку и начал и туда опускать галеты. Нагрузились так, что еле лезли по трапу. Из перегружённых карманов и пазухи, к моему глубокому сожалению, несколько галет выскочили и безвозвратно утонули в море.

Но не успели мы подняться на палубу, как сотни рук протянулись, прося хотя бы галету. В этот момент разве сможешь упрекнуть их, что они смеялись, издевались над нами, когда мы согласились на эту работу грузчиков? Конечно нет!

Давал я вначале дамам, ребятишкам, пожилым военным и тощим молодым офицерам. И так всё раздал, что только остались галеты в мотне и две буханки хлеба, а куда девались другие три буханки хлеба — и ума не приложу: когда же могла эта благородная публика у меня их спереть? Ну в общем, спёрли. Но ещё находились молодые офицеры-одиночки, исхудалые от голодухи, с блестящими глазами и очень-очень вежливо просящие хотя бы полга-

леты; кое-кому дал. А потом завернулся в бурку и под буркой съел одну буханку. Галеты из мотни пересыпал в мой вещевой мешок и заснул.

На другой день кричат: «Кто есть здесь из донских казаков?» Все, конечно, указывают на меня. Я спрашиваю, кто зовёт. Говорят, что спрашивают некрасовские казаки, поселившиеся в Дарданеллах в Турции. Говорят они мне, чтобы я поискал ещё других станичников. Я начал кричать по всем трюмам носовой части корабля. Пришло ещё человек пять пожилых донских казаков, отбившихся от своих станиц, хуторов и семейств. Хотели собраться вместе, но начальники групп не смогли найти желающих поменяться трюмами на палубу, а с палубы никто ни за какие деньги не хотел лезть в удушливые и тёмные трюмы.

Наши станичники-некрасовцы, донские казаки, одарили нас: дали по буханке хлеба, по одной колбасе с полфунта и одной небольшой жареной рыбе, пожелали нам счастливого пути и уехали. В этот же день на корабле выдали по ложке сахару, по плитке шоколада, по банке мяса и по две галеты.

На следующий день меня снова подзывают к борту парохода; говорят, что хотят поговорить с донскими казаками. Ввиду того что я один на палубе носа корабля, ясно, что меня первого и тащат на разговоры-свидания. Подхожу, вижу катер, в нём мужчина и дама, у руля турок в феске. Дама меня спрашивает: «Вы будете донской казак?» Отвечаю: «Да!» — «Вот вам, пожалуйста, буханка хлеба». Беру, то есть мне подбрасывают вверх, так как трап поднят; благодарю, а дама мне кричит с катера: «Вот видите, мы вас кормим, а вы нас били, евреев». Молчу: что я могу говорить в подобных случаях?

До самого приезда в Югославию (Котарро, Зеленика, Мелине) никаких особенных приключений не было, разве только то, что одна русская барышня, хорошо говорившая по-французски, дочь генерала, как-то спуталась с французской матроснёй. Вначале втихомолку, осторожно ночью пробиралась к ним, а потом расхрабрилась и непристойно раненько утром выскочила оттуда, что оскорбило благородное достоинство русской военной молодёжи. Её подкараулили (что было крайне легко сделать, так как общежитие французских моряков находилось у нас на палу-

бе) при выходе из камбуза и настреляли ей таких лещей, что она, думаю, и теперь их помнит, хотя, несомненно, теперь стала почтенной дамой. Её папаша, дрянной генералишка, который искал беспечной жизни, торгуя дочкой с матроснёй, было захорохорился немножко, но все, положительно все, группы, зная скандальное поведение его дочки, так цыкнули на него, что сразу же осадили. На другой день ни его не было уже у нашей группы, ни дочки его, ни его самовара, который он время от времени разводил угольками, в то время как мы сидели на голодном пайке. Перешёл он в другую группу; на этом грязная история и кончилась.

Когда проезжали возле Галлиполи, то спросили, есть ли желающие выходить на этом острове. Пароход шёл полным ходом. Да если бы и высказались желающие, не думаю, чтобы пароход свернул туда, к острову Галлиполи, куда поселили вывезенные остатки Белой армии; там командовал свирепый полковник марковцев Кутепов.

Зная, что наш пароход пойдёт в Югославию, я ещё раза два написал на всякий случай письма-листки брату Шуре, сообщая, что еду в Югославию. Если он на пароходе «Ялта», то в получении Шурой моих писем-листочков я не сомневался. Когда приходили к нам на пароход такие письма-листочки, то их адресаты усиленно искались, а если они не находились, их всё-таки искали и каждый начальник группы, зная наши имена-фамилии, читал-выкрикивал, кому были адресованы эти листки-письма. И так в течение двух дней, другой раз утром и в 4 часа дня. Так что я был уверен, что даже если бы он и не получил или бы оно не дошло, но уже подлинно знал, что раненые лейб-гвардии донские казаки были отправлены с «Ялты» через Константинополь в его окрестности для операций. Об этом я положительно не знал: письма к нему-то шли, ну а мне кто будет писать об этом при всей сутолоке и суматохе, созданных такой невиданной эвакуацией войск, гражданских беженцев частным и военным транспортом?! Фактически остатки-пережитки царствовавшей русской власти шли в изгнание из России. Всё это я понимал, но ведь единственный брат у меня, жутко было подумать о том, что вот теперь мы потерялись навсегда. Где он? Не остался ли в Севастополе, будучи не погружён на корабль по ка-

кой-либо причине? Если да, то расстрела ему не миновать. Но почему-то всегда была надежда на то, что он эвакуировался «Ялтой». Ведь как-никак я сам видел пустой госпиталь в Севастополе и, потихоньку этим себя успокоивши, отходил душой, надеясь, что он эвакуировался и что я о нём что-то рано или поздно буду знать.

Югославия

Вот наконец Сербия, то есть Югославия. Простояли в порту Котарро целый день. Говорят, что сгружать будут здесь и по группам. В два часа дня сообщили, что наша группа разгрузится завтра (ведь 5000 человек на пароходе!), велели сложить свои вещи так, чтобы их можно было дезинфицировать. На другой день свезли нас шлюпками на берег и всю нашу группу повели купаться и дезинфицировать наши вещи. Раздевшись, завязали вещи в узелки. Я лично запихал всё в две рубашки и связал рукавами, причём туго завязывать не разрешалось, за этим смотрели. Бумаги-документы брали с собой. И голыми повели нас через коридор в бани, пошла тёпленькая вода дождём. Не успели смыть мыла, как вода похолодела и рванула холодными брызгами дождя. Но вот открылась другая дверь, куда нас попросили пройти. Это было вроде длинного коридора. Пока мы шли по нему гуськом, нас обрызгивали карболовым паром со всех сторон. Глаза заволокло — иду вслепую, пробираясь руками по стенам. Наконец светлая комната. Протёрли глаза, все смеёмся от такой бани-дезинфекции. Воздух насыщен запахом карболки. Потихоньку руками обтираем текущую по телу воду, садимся на скамейки и ждём наши вещи из дезинфекции.

Стали передавать из открывшегося окошечка наши продезинфицированные вещи; ошибиться невозможно, так как это вещи только нашей группы. О ужас! После дезинфекции все кожаные вещи сгорели, как-то: сапоги, папаха, пояс и небольшая сумка. Нас тут же успокоили и выдали в замену английские ботинки с обмотками, полотняный пояс и английскую фуражку.

Погрузили нас снова на катер и свезли на другую сторону Котарро в крепость Франца Иосифа, где нас расположили группами по подвалам крепости у сложенных штабелями снарядов морской крепостной артиллерии. По группам же раздали военные оцинкованные котелки и одеяла, а мне — английскую шинель, не знаю почему. А на другой день и мне дали одеяло; в первый раз при раздаче не хватило, так что у меня оказалось шинелью больше, что неплохо.

На другой день выяснилось: несмотря на дезинфекцию, кое-кто сохранил вшей. Будем сидеть в этой крепости

40 дней карантина. Получаем пищу, горячую из котла, два раза в день. Люди начинают снова чесаться, а в особенности один морской полковник с женой, лежащие в углу. А плюс к этому лежим мы все на бетонном полу, на одеяле: одним крылом одеяла прикрываемся, а на другом спим. А тут ещё несёт металлическим холодом от лежащих снарядов. Прибавьте к тому, что мы в подвале, на втором этаже под землёю. Несмотря на сдружившуюся группу людей, весёлое общее настроение, электрический свет, изливающийся на металлически-стальные снаряды, всем зябко: сырость и холод бетонному воздуху придаёт ещё и сквозняк — холодный, пронизывающий крепость со всех подземных штолен.

От нечего делать я хожу, смотрю, лазаю по всем окрестностям крепости. Был январь 1921 года, а между зарослями и хаотически наложенными камнями я нашёл землянику, а там и дерево, покрытое зрелыми апельсинами. Всё это брошено бывшей Австро-Венгрией, как и сама крепость. Нашёл заброшенный хорошенький трёхкомнатный домик. В одной самой маленькой комнатке стёкла в окне были целые, как и военная металлическая кровать. Сразу же, вернувшись в крепость, я попросил разрешения перебраться на новое место жительства. Мне разрешили. Никому я об этом ничего не говорил, пока устраивал себе кровать. Я подмёл полы, перетащил мои немногие пожитки, снял бельё и всё то, что нуждалось в стирке, привязал всё это к проволоке электрического провода, который нашёл отодранным и болтавшимся на многочисленных брошенных зданиях крепости, и, как к грузу, привязал к камню и бросил в море с надеждой на то, что оно за 2–3 дня своими прибоями постирает моё грязное бельё и вещи. Конечно, другой конец проволоки крепко прикрепил у берега. В брошенных зданиях нашёл бутылки — одну целую, а другую наполовину разбитую. Это было очень кстати, так как в домике, в котором я поселился, водопровода не было, хотя в крепости как водопровод, так и цистерна имелись. В общем, обзавёлся хозяйством.

Домик находился шагах в семистах-восьмистах от крепости в том же районе. Приятно было завалиться на кровать с хрустящей травой под одеялом вместо матраца. Но одному жить скучно. Тогда я рассказал — и в большом се-

крете — станичному украинцу-корнету, он, в свою очередь, одной даме с четырьмя детьми — выходцам из сербов по фамилии Мандич. Эта дама была с двумя дочерьми: одной 15, а другой 10 лет, плюс два сына: одному 16, а другому 11 лет. Мужа-инженера она потеряла в новороссийской эвакуации. Они сразу же переселились к нам. И ещё три пристава, люди в годах, лет под 60, положительные. Конечно, подговаривались под мою кровать. Да я и сам понимал, что кровать полагается даме раньше всех, но, будучи на правах как бы хозяина этого домика (ведь я же первый его нашёл, поселился и их пригласил), я им при разговоре дал понять, что кровать останется за мной.

Окна кое-как кусочками стёкол застеклили, а из обрезков и найденных планок сделали всем что-то похожее на кровати. Потом приставы нашли ещё два точно таких же домика, но никто не хотел переходить туда. А самое главное, что теперь мы по очереди ходили за едой для всех на кухню. А железная печка военная очень пригодилась m-me Мандич. На печке мы другой раз дожаривали полученную непроваренную колбасу или готовили чай на корке жареного хлеба, пока не получили подъёмные деньги и не заказали в городе необходимого.

Морская вода великолепно вымыла мне бельё. Когда мои соседи увидели, то и они обратились к прачечной моря; ну и смеялись же все от моей сметливости! И так мы жили спокойно, каждый у себя в своей комнате, без приключений. Или при лампе, которую купили в складчину, сидели на камушках у дверей и все пели негромко, чтобы не привлечь других незваных жильцов.

Вот подходим к исходу карантина; начальники групп переизбираются. Мы решили сделать свою группу, — и к нам вошли новые лица, то есть или знакомые, или знакомые знакомых, — приблизительно такого состава:

5 человек — m-me Мандич и её дети,

1 человек — я, 2 корнета, 3 пристава,

2 капитана, 3 кубанских пожилых казака.

Всего 16 человек.

Перевезли нас снова на другую сторону, то есть в Котарро. И должны мы были погрузиться на следующий день в поезд и ехать туда, куда нас пошлют на расквартировки. А пока выдали нам, офицерам и военным чиновни-

кам, жалование за шесть месяцев в сербских деньгах — динариях. Предупредили, что это первые и последние деньги, что будут устраивать на службу в будущем по профессиям и всё.

К полудню подошёл ещё один пароход, битком набитый русскими беженцами. Мне уже всё это надоело и не до кого, а также и не до вошедшего парохода; хожу, гуляю по набережной. Вдруг подходит ко мне один из троих приставов и говорит: «Вот вам письмо от брата». Господи, как я обрадовался! Он же, пристав, сообщает, что мой брат вот как раз и прибыл на этом пароходе. И приставу радостно, что он сообщил мне счастливую новость, и мне радостно, что вот Шура спасся, вне опасности, и что за жизнь его мне больше нечего ни опасаться, ни страшиться.

Побежал в магазин, купил скорее колбасы, сыру, сардинок, папирос, так как он курил, бутылку вина, хлеба и печенья, нанял лодочника и поехал. Хорошо, что в этот же самый день получил деньги в динариях — повезло. Вот мы у борта парохода (это была не «Ялта»): по выздоровлении брата погрузили на пароход, идущий в Югославию, так как ему отказать в этом не могли, а, наоборот, старались соединить разбросанных поневоле: отца с сыном, жену с мужем, брата с братом и так далее. Наверх на палубу подниматься не могу, так как знаю: там есть вши. Кричу номер группы, чин и фамилию брата и к этому, в подтверждение сказанного, по опущенной бечёвочке привязываю написанную бумажку. В лодке слышу, как кричат: «Подхорунжий Любовин, подхорунжий Любовин!» Вот, думаю, ловко попал, то есть туда, где его группа находится. Смотрю вверх и вижу моего дорогого брата Шуру. Он всё тот же, но только исхудалый и какой-то измученный, после карантина.

Наговорились с ним и решили поселиться где-нибудь в Сербии. Теперь мы не боялись потеряться: во-первых, на каждом пароходе зарегистрировано югославским правительством, куда и в какой группе (по личным удостоверениям) посланы люди; во-вторых, я ему дал точный адрес, куда нас повезут.

Передал я ему мою свежую посылку, пожелали мы друг другу счастливого пути, и на радостях уплатил я сполна лодочнику, а сам пошёл на станцию, нашёл нашу группу

в одном из товарных вагонов, залез туда; мой вещевой мешок они захватили с собой. Остаток вечера до поздней ночи я смотрел на пароход, где находился мой родной брат Шура, и весело и скучно было на душе: где-то наша мама?

Ехали 24 часа, приехали часов в семь вечера. Зимние дни, вечера тёмные. Но уже заранее знали, как идёт размещение беженцев, по предыдущим остановкам. Так сделали и с нами, как только остановился поезд. Это была маленькая станция, расположенная в небольшой деревне Бачко Градиште по-сербски (или Feigvaratz Baski по-мадьярски). Пришёл встречный представитель деревни, нашёл наш номер вагона, сверил наши имена с листом наших имён у начальника группы, рассадил нас по три и начал расквартировывать по ранее намеченным хозяевам. Мне дали квартиру у одного зажиточного серба. Войдя в дом, я увидел двух его молодых сыновей моих лет. Но вот меня проводят через дом, а потом через двор и вводят в закрытую конюшню, где стоят 4–6 лошадей, у стены — кровать, на которую наброшено сено, и рукой указывают, чтобы я на ней расположился. Я удивлён такому приёму, решительно отказываюсь, протестую, ухожу. Представитель что-то громко говорит с ними. По ним вижу, что им неловко. Представитель что-то говорит мне, но по-сербски в первый раз я ничего не понимаю. Ведёт меня в противоположный дом, стучит. Ему открывают. Говорит с ними. Хозяева дома улыбаются, пропускают меня вперёд в дверь, ведут в столовую-кухню. Это очень зажиточные крестьяне-сербы. Отвели мне комнату их молодого холостого брата.

Через два дня воскресенье. Все мы на утрене в церкви, во всём лучшем. На нас смотрят во все глаза, а в особенности на нашу группу молодёжи. Служба кончилась; сербский поп произнёс какую-то проповедь. Вышли из церкви, и сразу все сербы давай нас хлопать по плечу, дружески говоря «брат русе», приглашать на воскресный обед к ним. Мои хозяева сразу очутились возле меня и ни в коем случае не хотели меня отпустить ни к кому другому.

За обедом было многолюдно, и их брат приехал с женой с поля, где у них дом при пахотной земле. Расспросы, расспросы без конца. Потом повели на уличное сельское гуля-

нье, где я первый раз увидел их национальный танец коло, который танцевала чуть не вся сельская молодёжь. Здесь с одной стороны парубки, а с другой дивчины, в иных местах — в мешанку, но все держатся пальцами за концы носового платочка, через которые и передаётся прикосновением пыл любви молодёжи.

Деревня Бачко Градиште, или Фельдварац Бачки по-венгерски, делилась главной улицей, по одну сторону которой жили сербы, а по другую — мадьяры с небольшим числом немцев. Жили почти все богато, но бедные — да где их нет? — были и в этой деревне. Такая деревня в области Бачка с трёхнациональным наречием и смешением народностей, которое проводилось в бывшем государстве Австро-Венгрии королём Францем-Иосифом.

В одно воскресенье мадам Мандич пригласила нас на чай. Сидим, веселясь, за столом. Вдруг все обратили на меня взор, думая, что я коленками поднял стол, на котором стоял кипящий самовар. Я хотел было рассмеяться на такой фокус, так как молодёжи было много (два корнета, дети мадам Мандич, два капитана и я), думая, что кто-то делает это за меня, как стол пошёл в мою сторону, сзади меня грохнуло, все закричали: «Землетрясение!» — и бросились стремглав в боковую дверь, выходящую во двор. А оттуда — на улицу, по которой вдали и возле домов на улице толпились испуганные жильцы. В этих краях землетрясение не редкость, но всё равно навело большой страх на всех, а на нас, русских, тем более, потому что мы пережили это в первый раз. Жертв не было. У дома, где мы пили чай, слегка обрушился угол комнаты, как и у других домов, появились трещины стен. На этом всё и закончилось.

Бывая на сербских вечеринках, замечал, что они очень скромные и не такие весёлые, как у нас в России — на Дону и в Крыму. Бренчит какая-нибудь тамбурина, ей подпевают девчата и ребята. Угощают жареной или варёной кукурузой. Другой раз во дворе и танцуют, но исключительно национальные сербские танцы, подчёркивая этим живущим по другой стороне улицы мадьярам и немцам свою несовместимость с навязанными пришельцами.

Не знаю, совпадение это или случайное приятное знакомство. В один из воскресных дней на выходе из церкви

подходит ко мне серб и спрашивает: «Вы были в таком-то месяце в Ростове?» Отвечаю: «Был». — «Помните ли, когда на станции в Ростове с вами говорил один из военнопленных австрийцев, нося на подвязке руку?» Отвечаю: «Да». И сразу же вспоминаю, что это было в 1917 году в декабре месяце, тогда как раз и проходил поезд с военнопленными австрийцами, направлявшимися к себе домой. Все они были одеты в штатское. Много было раненых — на костылях и руки на подвязках. С ними я беседовал из-за моей любознательности. Казаки говорили, что это, несомненно, пленные, которые дрались с красными против нас, так как у них были у всех заживавшие раны. По словам раненых, они уже давно попали в плен к нам.

Этот поезд военнопленных австрияков состоял исключительно из славян, то есть сербов, чехов, хорватов и так далее. Во времена империи Австро-Венгрии славянские народы не имели своих государств, кроме России, Сербии и Болгарии, которые получили независимость благодаря России. И только после мировой войны 1914–1918 годов появилась Югославия, объединившая славянские народности сербов, хорватов, руснаков и русов, и Чехословакия, объединившая чехов и словаков.

Так вот, тогда серб мне представляется: «Козаревич». По профессии он столяр, жил и работал в этой же деревне. Хороший, добрый и сердечный человек. Было уже то хорошо, что он немного говорил по-русски; он-то меня и водил по сербским сельским вечеринкам и, будучи членом собрания охотников деревни (охота велась исключительно на зайцев и пернатых), пригласил меня туда на ежегодный охотничий вечер-ужин.

Было интересно провести этот вечер в компании, состоявшей только из охотников, за исключением меня, и только сербов. Не буду рассказывать про ужин, но весь он состоял из зайчатины — очень вкусно приготовленных разных блюд. А самое главное, многие охотники были в своих национальных костюмах, что очень украшало мужественных сербов.

Провёл я эти три года в Сербии-Югославии, несмотря на все невзгоды, приятно; скажу даже — весело, так как мы, русские, были приняты своими родными славянами на положении равных, а тем более — молодёжь в моих годах.

День за днём время отшлифовывает и жизнь, и чувства человека. Троих кубанских казаков заела тоска по Кубани. Рассуждали они так: «Что нам терять? Мы люди старые, жизни нам здесь никакой. А там у нас семьи и всё остальное. Ну а если коммунисты нас расстреляют, то пусть стреляют». Через два месяца они вернулись обратно в Россию.

Мадам Мандич уехала с детьми в Белград, где сын учился в гимназии, а потом и на медицинский факультет пошёл. Она стала торговкой, как и дочь, вышедшая замуж за одного из двух корнетов, а остальные дети тоже начали учиться. Один наш капитан из двух женился в этом же селе. Один из приставов в этой же деревне стал полицейским, а остальных из нашей группы я упустил из виду.

После долгих поездок в Белград в поисках места я был послан в Нови-Сад в государственную больницу фельдшером по венерическим болезням, где и работал вплоть до отъезда на учение, а потом и на службу во Францию, в Париж. Вот несколько эпизодов, которые врезались в мою память.

Всем сербам очень хотелось видеть русский спектакль, тем более, жизнь деревни всюду одинакова и однообразна. А входить в наше положение и понимать, что мы выскочили из кошмара революции и находимся ещё в угаре от всего пережитого, — им это было недоступно. Им давай и делай поскорей, «братишек русе», для них развлечение. Ведь почти все слышали про русских, но никогда не видели. А на меня как на донского казака пялили глаза и чуть не щупали, чтобы удостовериться в действительности; таскали меня чуть не каждый день ужинать в разные дома сербов села. Хозяин дома, где я жил, был очень горд, что вот, дескать, донской казак живёт у него. Но должен сказать спасибо СЕРБАМ за братский приём и за все их искренние братские заботы, сохранившие нам жизнь, и за всё время пребывания — братское, повторю, чисто братское отношение к нам.

Начну со спектакля. Поставили мы в сербской школе маленький спектакль. Вход бесплатный. Музыканты-любители — тамбуринщики и тамбуринщицы. Спектакль для меня — это хотя и редкое, но знакомое дело. А посему я свободно вышел на сцену, играя молодого человека, что

мне было крайне легко, так как мне 20 лет, а девушку играла дочь мадам Мандич — 15 лет. Селяне-сербы были зрители непридирчивые ни к нашему представлению, ни к нашим русским костюмам, а посему аплодировали за всё и при всех возможных случаях, что было ужасно приятно как нам, русским, так и им, сербам.

После спектакля начались танцы. Они бы с удовольствием посмотрели русские танцы, но сербские музыканты-любители не умели их играть. Ну, ничего не сделаешь, пришлось плясать под песню нашей русской группы и, конечно, по настойчивой просьбе всех сербов и сербок и моему скрытому очень большому желанию потанцевать. На танец я согласился и под песню русской группы и громовые удары всех присутствующих в ладоши лихо протанцевал казачка, не ударив в грязь лицом и не посрамив донских казаков. Все наши соотечественники были очень горды мной; мне отбою не было на приглашения. Молодых поручиков и офицеров наших брала зависть при виде моей сельской популярности.

Потом начались национальные сербские танцы. Как будто ничего особенного нет. Ходят они, танцуя коло, держась за платочки. Но присмотревшись, видишь, как сербки красиво передают своими трепещущими движениями всю красоту женского тела, а мужчины, подпрыгивая, выражают удалую дикую силу, я бы сказал: медвежью ловкость, но не какой-нибудь неописуемой грубой, а чистой силы! И это ещё не предел. Другие, помоложе, такие запятые и крючки ногами отделывают, что от опанцев (их ботинки, как русские лапти) пар идёт. К полночи всё закончилось: крестьянам нужно быть готовыми назавтра к страде.

В сербском монастыре Беочин

Живя в деревне, нужно было ездить хлопотать в Белград, искать службу. Из полученных денег, хотя и маленькие (50 динар в месяц), а всё-таки платил хозяину дома (хотя он категорически отказывался) за стол, квартиру и стирку белья, ведь не будет же он кормить меня шесть месяцев бесплатно. А на 50 динар в городе при нормальной жизни можно было купить от 50 или 60 куриных яиц. И добрый хозяин серб брал эти деньги, чтобы не оскорбить «братишку русса».

От избытка молодых физических сил мне хотелось скакать, прыгать, лазать. Тут мне посоветовали записаться в гимнастическую группу «Соколы». Имея безлимитную трамвайную карту, я два раза в неделю трамваем ехал в город в группу, где занимались исключительно гимнастикой, пели песни, маршировали в зале — и всё. Ветер, вьюга, снег — ничто меня не останавливало.

Я только после второй поездки в Белград — да и то лишь на пятом месяце моего пребывания — попал на службу в государственную больницу Нови-Сада. А до этого один раз по приезде в Нови-Сад, ища место по частным санаториям и идя по их улице, остановился у витрины, где русские закладывали для продажи всякие свои ценности: золотые браслеты, брошки бриллиантовые, серебряные и золотые портсигары. Смотрю на всё это, любуюсь. Подошёл русский священник, тоже смотрит, а потом спрашивает меня, что я здесь делаю? Я ему говорю, что ищу место. «Вижу, — говорит, — что вы донской казак, и видно, что вы хороший молодой человек». И предлагает мне с ним поехать в сербский монастырь работать в трапезарии за стол, квартиру и стирку белья вплоть до того момента, пока не получу места. Я ему отвечаю, что с удовольствием поеду, но мне надо вернуться в деревню и взять мои вещи. Он мне говорит: «Раз вы сказали, что там, где вы живёте, люди богатые и хорошие, то вам за ваши вещи беспокоиться нечего. А ехать вам отдельно до монастыря Беочин — нужны деньги. Я приехал тарантасом, и вот поедемте теперь же вместе. Решайте, но смотрите не отказывайтесь, так как потом пожалеете, но будет поздно». Раз батюшка говорит, значит это так. Терять мне нечего, да и всё равно я веду кочующую жизнь. И поехали.

И вот теперь, описывая это, благодарю батюшку. Да я и раньше как тогда лично, так и после много раз благодарил этого русского священника-монаха, что взор его пал на меня, а ведь ему только архиереи и сказали: «Привези нам молодого и хорошего русса быть трапезарием».

Монастырь большой, находится в лесу. Шесть архиереев-стариков в отставке доживают свой греховный век, плюс архимандрит-настоятель, поп-духовник, монах-наместник да ещё дьякон, послушник, старая повариха с мужем-конюхом, садовод и келейник архиереев. Потом, поживши, увидел ещё немало челяди служащих.

Моя обязанность заключалась в том, чтобы накрывать стол, подавать к столу и убирать со стола. Этому меня учили, но в первые дни не раз и не два лил соусы на хламиды попов, но понемножку: вовремя спохватывался. Стыдно было такой работой заниматься, но ничего не поделаешь. Потом стал тихонько в церкви петь, свечки тушить, в деревянную доску бить вместо колокола, который взяли для нужд войны: из колоколов отливали пушки.

Жизнь была тихая, мирная и спокойная. Русский батюшка-монах занимался пасекой и плотничеством. В этом монастыре я пробыл несколько месяцев, откуда я поехал второй раз на приглашение в Белград, но уже с рекомендательными письмами от двух архиереев о моём хорошем поведении в монастыре, что способствовало моему быстрому назначению в больницу в Нови-Сад.

Нови-Сад

Поехал я во второй раз по делам в Белград. По дороге в вагоне познакомился с русским капитаном, который успел уже за эти пять месяцев жизни в Сербии сделаться торговцем, скупая по деревням куриные яички, и вёз их продавать в Белград.

Жил он в деревне с больной женой и двумя детьми. Нужда — не свой брат — заставила человека за что-то взяться, работать. У меня деньги тоже почти на исходе. Кругом всё русскими забито, работы никакой. Этот капитан с корзинкой яиц предлагает мне переночевать в знакомом ему ночном ресторане в Белграде, куда мы приехали в 1 час ночи.

Пришли в ресторан. О ужас! Вся нищета валяется на полу, под столами. Всё это спит, храпит. Но капитан, постоялец здесь уже бывалый, уплатил дежурному этого ресторана по одному динару за человека (1 динар я ему вернул сразу же), за это он отвёл нам по одному короткому столу, где даже вытянуться нельзя, а нужно спать согнувшись в три погибели. Но ничего не сделаешь, нужда заставляет.

В полпятого утра всех ночевальщиков — вон: нужно чистить и подметать ресторан. Вышли мы на улицу, а там снег, слякоть. Холодно. Он отправился на базар для продажи привезённых им яиц, а я пошёл к управлению Красно-



Михаил Любовин (сидит крайний слева) с коллегами в государственной больнице. Нови-Сад. 1921-1922 гг.

го Креста, от которого думал получить место. Болтаясь по улице, ждал девяти утра, когда откроется Красный Крест.

Горько было на душе от всего переживаемого и будущего бродяжничества. Но всё же лучше находиться в тихой обстановке, нежели под пулями — всегда начеку, чтобы не убили. Нет! Как бы плохо ни было, но мир лучше войны. А там — на всё воля Господня! Мне повезло: получил назначение больничаром, то есть помощником доктора — санитаром, в больницу в Нови–Сад.

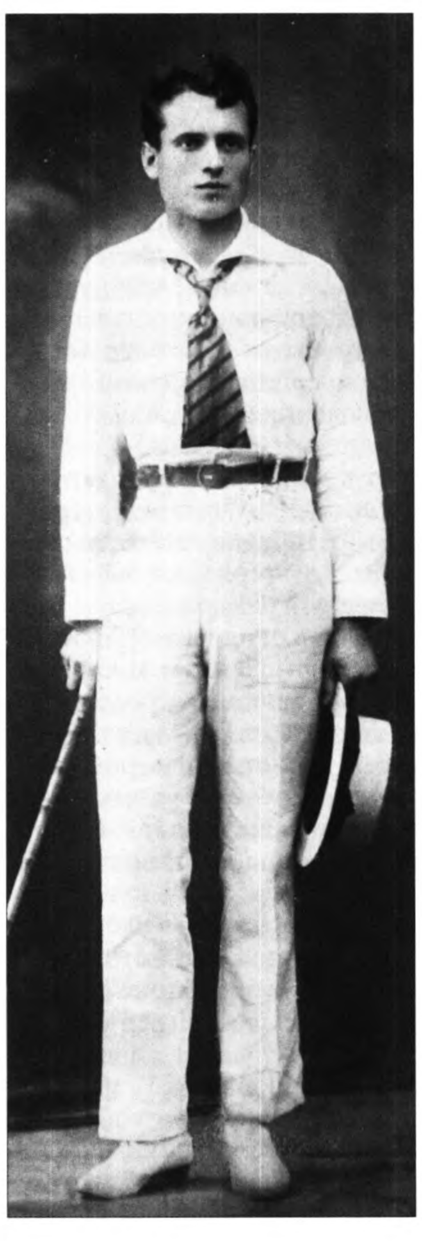
Нови–Сад находится на обратной дороге в деревню, где я живу. А посему спускаюсь с поезда в Нови–Саде, иду в больницу. Приняли, слава Богу. Сказали, чтобы пришёл на работу через два дня, то есть имею время съездить в деревню взять вещи, что я и сделал.

Приезжаю. Ведут меня в больницу. Красивая, покрашенная белой масляной краской комната, кровать, стол, стул, шкаф, паровое отопление, электричество. Вот это — моя комната, где проживу, служа в больнице венерическо-

го и кожного отделения два с половиной года.

Стол 3-го класса: утром суп, обед из 2-х блюд, ужин — то же самое; жалованье 200 динар в месяц + стирка белья.

Через шесть месяцев стол 2-го класса: утром кофе с молоком и хлеб с маслом, обед из 3-х блюд с десертом, в 4 часа кофе, хлеб, масло, вечером — как и в обед. Жалованье 300 динар в месяц. И так вплоть до моего отъезда во Францию.



Михаил Любовин. Нови-Сад. 1923 г.

Большая радость: приехал брат Шура. Говорим не наговоримся. Вспоминаем и крепко горюем по дому и Тихому Дону. Нанял я ему комнату. В больнице он со мной не может жить, но столоваться может, то есть делю мой ежедневный паёк больничный пополам, а посему он приходит два раза в день есть.

В русских газетах напечатали объявление, что донские казаки — учителя, кончившие гимназию или реальное училище, — принимаются на шофёрско-трактористские курсы в Софии, в Болгарии. Брат Шура сразу же туда пошёл. Управление лейб-гвардии Донского казачьего полка выдало ему необ-

ходимые бумаги, справки, и прямо из Белграда он поехал в Софию, где был принят на эти курсы на чисто военном положении, то есть с соблюдением чинов, на учение и на полное иждивение: стол, квартира, одежда, обувь и так далее, расходы по которым взяло на себя Донское казачье правительство[18] за границей. Я был очень рад, что его туда приняли, где он и проучился один год. По окончании он хотел снова вернуться в Сербию, но она была перенасыщена русскими. Безработица ужасная; голод между русскими беженцами очень большой. На этой почве частые самоубийства русских людей, в прошлом состоятельных, теперь выброшенных волной революции за границу и потерявших своё социальное положение, в годах, без какой-либо перспективы.

Видя всё это и полностью отдавая себе отчёт, я глубоко погрузился в свою службу, никуда не выходил, сидел смирно и старался работать так, чтобы не иметь замечаний и не потерять место службы. А потерять службу было очень легко: много русских докторов без дела искали такое место, как у меня, и не раз я был свидетелем, как они настойчиво на моих же глазах с унижением и сконфуженными лицами доказывали управляющему больницей преимущества принятия его, доктора, на моё место. Но я себя зарекомендовал крепким и хорошим работником-фельдшером, не гнушался никакой работой, не только медицинской, санитара, но даже и работой дворника, могильщика. Узнав это, доктора соглашались на всё, ничем не стесняясь, лишь бы заработать кусок хлеба, не умирать с голоду и иметь тёплый угол, где бы можно было спать. Но взять доктора на такую службу совесть им не позволяла. Ну а мне всё это крайне обидно, унизительно, омерзительно, но другого выхода нет: терпи, казак, атаманом будешь.

В бытность мою фельдшером в больнице Нови-Сада Красный Крест предложил мне, чтобы я всех русских, попавших в больницу, морально поддерживал, исполняя, по возможности, их просьбы ко мне, конечно, всё в благотворительном духе, то есть бесплатно, что я и делал.

Ввиду того что больница на 1000 кроватей, то о попадании русских в больницу или секретарь больницы, или какая-либо благотворительница дама, как правило из выс-

шего слоя аристократии: княжна, баронесса, графиня и тому подобное — из Красного Креста, меня предупреждали. В общем, «всякой твари по паре».

Как-то раз меня вызвали к одному русскому больному в больницу внутреннего отделения. Больным оказался бывший русский пленный войны 1914–1917 года; после революции 1917 года он боялся ехать в Россию, чтобы не быть мобилизованным и не драться против своего же русского народа ни с какой стороны — ни против белых, ни против красных. В плен он попал в 1915 году в Австро-Венгрии. После войны из Австро-Венгрии сделали два государства — Австрию и Венгрию; передали Югославии часть территории, преимущественно населённой сербами и словенцами, хорватами и немного мадьярами (Срем, Банат и Бачка), где и проживал наш русский пленный. Когда-то в этом отделённом округе бывшей Австро-Венгрии, а теперь старой родной Сербии-Югославии, принявшей его со всеми этими братскими народами — сербами, хорватами и словенцами, наш русский пленный получил права, равные с сербами. И так потихоньку жил. Потом заболел воспалением лёгких.

Когда пришёл я к нему, он был очень рад познакомиться, поговорить про Россию. Всё воспоминания, воспоминания... Был он из Херсонской губернии. Красный Крест признаёт его удостоверение личности, так что нечего было заботиться об этом. Забегал я ещё раза два-три вечерком, после службы. Были яблоки, булочки, вино у него — что я ему покупал в больничной лавке за его деньги. Покалякавши с ним по душам, я уходил.

Но вот меня вызывают в канцелярию больницы. Управляющий передаёт мне старинные массивные серебряные карманные часы с массивной серебряной цепочкой старого времени и говорит, что всё это завещал мне русский солдат из бывшей Австро-Венгрии и что вот уже две недели, как он умер. Я был крайне глубоко тронут такой незаслуженной добротой и вниманием ко мне. Часы с цепочкой взял. Потом пошёл сразу в отделение внутренних болезней, где мне сестра (монахиня-католичка) рассказала, что его навещала последнее время дама из русского Красного Креста, что она несколько раз спрашивала, вызвать ли меня, так как он часто вспоминал и говорил про

меня. Но он говорил, что стесняется меня отрывать от работы, что позовёт, если почувствует себя плохо, и что если он неожиданно умрёт, так эту драгоценную вещь для него обязательно передать мне. Сердце бедняги подвело его. Грустно было мне смотреть на эту память от русского солдата, заброшенного судьбой далеко–далеко от родины, где он и сложил свои кости.

Смерть нашей любимой мамочки

Получаю открытое письмо от брата Шуры, где написано: «Наша мама умерла в 1921 году; думаю, что в январе». Прочитал — и потемнело в глазах, иду, шатаюсь. Не верится. Снова читаю, где оставшиеся в России сёстры Люба и Евлаша пишут, что мамочка скончалась от разрыва сердца.



Икона Пресвятой Богородицы, которой В.И. Любовина 5 июля 1921 г., за четыре дня до кончины, благословила дочь Евлампию

Придя к себе в комнаты, я с нескончаемой болью в сердце разрыдался. Плакал долго и горько и никак не мог успокоиться; да и есть о чём. Получил это письмо брат Шура спустя три месяца после смерти мамочки. Где оно валялось?! Бог его знает, в то время такая вещь — обычное дело. Тогда Сербия, будучи королевством, не признала коммунистическую власть в России, а потому и не имела с ней почтовой связи. Все письма, мною посланные мамочке, где–то были задержаны в Сербии. Потом пошла переписка.

По письмам сестёр, мамочка очень сильно беспокоилась за своих сыночков — моего брата и меня; не знала, бедная мученица, ни что с нами, ни где мы. И последние её слова были: «Где Миша?»

Сестра писала потом, что мамочку коммунисты били и что она сидела в тюрьме за то, что её два сына в Белой ар-



Любовь и Евлампия Любовины. 1927 г.

мии. И как она, сильно голодая, потому что всё отобрали, претерпела большие лишения. Сердце не выдержало.

Пишу эти строки и вот, хоть много лет прошло, всё забыть не могу, такая тоска меня схватывает. А ведь я мужчина, и жена, и сын большой у меня. Нет! Жаль мне мою покойницу мамочку, очень жаль. Царство тебе небесное, моя мамуся, моя милая и дорогая.

Когда брат вернулся в Сербию, отслужили мы панихиду об упокоении усопшей рабы Господней, наплакались вдоволь. Да и теперь пишу, а слёзы заволокли глаза — плачу. Эх ты, жизнь — жестянка!..

Возвращение брата Шуры в Сербию и отъезд во Францию

Теперь опишу, как вернулся брат из начинавшей мутиться коммунизмом Болгарии. Шура писал из Софии, что скоро заканчивает шофёрско-трактористские курсы, что в Болгарии сильное движение коммунистов и что глава болгарского правительства Стамболийский политически шатается и непостоянный человек. В будущем перевороте военщина его убила.



Александр Михайлович Любовин. Автопортрет

Окончивши курсы, брат никак не мог попасть в Сербию, переполненную русскими беженцами, о чём описал выше. Но получаемые мной письма брата стревогой свидетельствовали, как и все газеты Сербии, что недалёк переворот власти в Болгарии. Это заставляло меня сильно тревожиться за жизнь брата Шуры.

От знакомых русских я узнал, что контрабандой и за такую–то сумму втихомолку переводят через границу Болгарии в Сербию, да ещё с такими тонкостями, как–то: на какой станции возле границы нужно слезть, до какой деревни нужно дойти пешком, на какой улице перевозчик границы живёт, как его зовут и сколько ему нужно дать. Все эти подробности я написал брату из Нови–Сада и через банк послал 1000 динаров.

Брат так и сделал. Но перейдя границу, на Сербской стороне, в горах и снегу, встретил волка. Однако зверь на него не напал: видимо, сытый был. Брат пешком прошёл первую станцию, сел на поезд на второй станции, так как на первой станции пограничная стража проверяет документы. Приехал он сразу ко мне в больницу в Нови–Сад, где русские власти написали, что он ездил по своим нуждам по Югославии, а потому и просрочил своё старое сербское удостоверение. В то время была большая неразбериха с русскими, а посему всё это делалось запросто. Пока он питался со мной; я усиленно искал ему место шофёра. Нашёл. Дали ему на проверку камион (грузовик) с восьмью рабочими. Однако на повороте Шура не успел выправить

задние колёса, скользящие по снегу, и чуть проломил крыло. Не приняли. Через шесть месяцев он уехал во Францию.

Я продолжал служить в больнице. Один раз санитар раздавал обед венерикам. Один из больных начал кричать, что ему санитар дал маленький кусок мяса и что он недоволен. Тогда я переменил санитара для раздачи (один санитар был для венериков, а другой — для кожных больных). Тот тоже ему не угодил: этот венерик дал тумака санитару. Меня опять вызвали в столовую. Он, озлобленный, бросил мне в ноги кусок мяса и выплеснул суп — тоже на мои ботинки. И — в два счёта полетел вверх тормашками в угол. Не успел я пожалеть о своём жесте, как сверкнул нож. Я успел пихнуть к нему рядом стоящего санитара, что дало возможность мне убежать и — прямо в канцелярию больницы. Оттуда позвонили в полицию. Через полчаса пришли два полицейских, забрали заводилу. Привели его обратно на другой день учёным и тихеньким; к обеду его выписали из больницы. Мне сказали, что мой отпор оправданный. На этом дело и закончилось.

Брат писал, что во Франции жить хорошо и что я смогу учиться. Начинаю хлопотать о визе. Чтобы получить студенческую визу, нужно иметь удостоверение из французского учреждения, в которое тебя приняли, а также статус вольнонаёмного рабочего без контракта. Но виза стоит очень дорого, чуть ли не 1000 франков. Плачу, конечно. Это виза с контрактом на один месяц на фабрику в Бельфор. Ничего не сделаешь: уплатил — значит и условия принимай. Выехать можно только через 2 месяца.

Когда мой доктор-шеф узнал, что я уезжаю, то сказал что я «меняю пирожное на сухарь». Не спорю, жилось мне хорошо, работа знакомая. Свободное время. Прямо напротив больницы, на другой стороне широкой улицы — чайная, где по субботам и воскресеньям вечером народные танцульки, пьёшь пиво, сливовицу или бершет-вино, а танцуешь под цыганскую музыку хоть всю ночь: чардаши, венгерку, коло (в общем-то, это мадьярский чардаш, а по-сербски — коло).

Однако было и немало несправедливости в среде эмиграции в Сербии. Вот пример. Один раз приходит полков-

ник, который служит сторожем в парке; у него жена и двое мальчиков. Это великолепное военное заведение с большим парком, выходящим на четыре улицы. Одна из них находится напротив от больницы, то есть мы соседи.

«Слушай, — говорит, — Миша. Сегодня жена продала бриллиантовую брошку зинчиком* за 45000 динаров. Конечно, сумма большая. Пойдём, обмоем эту продажу, но жене — ни гу-гу». Эти люди были очень богатые и вывезли они из России как золотом, так и золотыми деньгами и вещами немало, но обидно, что им ещё и помогали ссудой — денежной помощью от Врангелевского правительства, а таким как я — шиш. И такое место лодыря ему дали (ходить и смотреть, чтобы люди не рвали цветы, не ломали ветки и так далее), чтобы его туберкулёзная жена могла дышать хорошим лесным воздухом, как и дети. А домик их, «сторожа», находился посредине этого парка.

Как сказано, так и сделано. Отслуживши мою службу, поехал я с ним. «Денег, — говорит, — ты, мальчишка, не бери, — да у тебя их и нет». Всю ночь он кутил. Были в трёх-четырёх ночных ресторанах, которые ещё хлеще тех, что я видел потом в Париже. И наутро в извозчике с четырьмя скрипачами-цыганами приехали к ним, цыганам, в дом. О кошмар! Как и у всех цыган — ни кроватей, ни стульев; всё валяется на полу. Это отрезвило полковника. И мы вернулись тем же извозчиком, свёзшим вначале его до парка, а меня потом до больницы.

Болел я после этого «пугачёвского бала» два дня. Мой доктор-шеф долго потом подсмеивался надо мной за столь громогласное гулянье.

Второй пример. На заседании Красного Креста, в котором я участвовал, был поставлен вопрос, дать ли швейную машину жене одного офицера с двумя детьми. Тут же одна дама из сидящих заявила, что она бы охотно взяла эту машину. В её пользу сразу же и решили, то есть дали ей швейную машину, она её продала и на полученные деньги устроила этой группе людей гулянку, на которой были все виды русской икры, голландских сыров, горы пирожных, орехи и тому подобное. Та же жена офицера с двумя деть-

* Зинчик — стрекоза.

ми не смогла зарабатывать шитьём и кормить детей и безработного мужа. Скандал!

Ещё пример. Крестник короля Александра князь Волконский (если не ошибаюсь) устраивал в маленьких чайных вечеринки, приглашал туда всех более или менее знакомых офицеров и, подвыпивши, сажал собаку на стол и громогласно заявлял, что предпочитает свою собаку, чем это мерзкое общество. Вот вам пример того, кто нами командовал и кого защищали, в частности и мы — донские казаки. Однажды этот «субчик князь» устроил где-то дебош. Сербский полицейский его за дебоширство хотел арестовать, а князь его — в ухо. И всё-таки с подмогой притащили его в Царешку кугу, то есть в Окружное управление. Он кричит: «Я князь, родня царя! Крестник короля Александра!» То, что Волконский выкрикивал, была сущая правда. А то, что он был не в царской России, он полностью забыл. И истинная правда, что его, разъярённого, арестовали и притащили в участок, что с Их Сиятельством никогда в жизни не происходило и привело его в бешенство; он бросился на сербских полицейских, желая их избить, но был сразу же сбит с ног и пристрелен, как бешеная собака, полицейским, которого он бил первым. Полицейского арестовали, но он сбежал из-под стражи этой же ночью... От себя прибавлю: собаке собачья честь.

Прошли последние дни, оставшиеся от двух месяцев. Собрал я мои скромные пожитки — плетёный лёгкий чемоданчик, где кроме белья и книг ничего не было. Пришло пять-шесть ребят учащихся меня проводить на станцию. И поехал до Белграда, где должен пересесть на другой поезд — на Францию. Прощай, братская Сербия!

Франция

1924 год. Еду во Францию. Остановились в Берне (Швейцария), куда ехали прямым поездом из Белграда. Во время проезда через Австрию нужно было иметь марки. На первой станции сказали, что там есть банк, чтобы поменять динары. Когда стоял у кассы, за спиной у меня мой состав вагонов передвинули и другой стал на его место. Да и тот уже тихонько шёл, когда я, не желая его пропустить, успел вскочить на подножку, открыть дверь и войти в вагон.

Вагон пассажирский, полностью пустой. Успокаиваю себя, что на первой же остановке слезу и пройду в мой вагон. Сажусь в купе и еду. Но вот дверь открывается, и вижу двух железнодорожных служащих в форме, вытаращивших глаза. Смотрят удивлённо на меня, я — на них. Спрашивают меня по-немецки, куда я еду. Показываю им мой билет. Объясняют, но мне трудно понимать их, так как плохо знаю немецкий, но в конце концов разобрался. Высаживают через 2–3 станции, сажают в другой поезд. Красивые пейзажи, все в снегу горы. Я в Берне, а вскоре и во Франции.

Место жительства — это Бельфор, где поступаю на фабрику магазинщиком. Записываю входящие и выходящие электрические машины. Списываюсь с Парижем, а также с Управлением донских казаков. Через месяц получаю бумагу, что меня принимают в один из госпиталей Парижа, и почти что одновременно — о принятии меня в медицинский институт (Institute Medicale), адрес: la Sorbonne, rue Cujas (Сорбонна, ул. Кюжас).

Еду в Париж, волнуюсь, так как много слышал о нём, говорили, что он коварный, как и все большие города. Взял такси и приехал сразу же в больницу. Приняли, переночевал. Утром рано позавтракали в столовой больницы. Только два человека там говорили по-русски. То, что мне рассказал русский аптекарь, комом упало на сердце.

В 9 утра зовут представиться к директору, открывают двери, и сразу же за ними на высокой кровати лежит под одеялом старше средних лет грузный человек в еврейской камилавке, почтительно окружённый стоявшей толпой. Когда я вошёл, они расступились и, указывая на меня,

по-французски сказали: «Вот он». Он подал мне руку, я ему пожал её и после этого встал в сторонку, поскольку говорить было не о чем, а по-французски я еле кумекал. Потом пришло ещё 2–3 человека; все они подходили к этому «иерарху еврею», раболепно целовали ему руку и становились в полукруг в сторонку. Потом, посматривая на меня, вдруг все сразу заговорили. Наговорившись, «иерарх еврей» снова подал мне руку. Я вышел из группы, пожал ему руку и вышел в уже приготовленную открытую дверь. Чувствовал, что приём-знакомство и служба здесь под вопросом.

Иду в столовую. Встречаю этого еврея, говорящего по-русски. Он мне говорит: «Не знаю, приняли ли вас». Я ему: «Что ж, я тоже не знаю. А кого спросить?» Он в ответ: «Не знаю». И ушёл. Постояв немного, я пошёл к русскому фармацевту в аптеку. Тот мне сразу сказал: «Ваш чемодан стоит в коридоре». Тогда я его поблагодарил за всё, и он мне говорит: «Тяжело нам, русским, здесь, но выворачиваться надо. Вы молоды и, как вижу, хороший молодой человек, и поэтому не падайте духом и пробивайте себе дорогу».

Взял я мой чемоданчик из плетёнки и вышел на улицу. Вот тебе и Париж! Долго мне пришлось помотаться по городу. Два дня спал в общежитии для приезжих донских казаков: кровать с тюфяком — и всё. Был в Медицинском русском обществе. Послали меня оттуда к профессору Алексинскому, который время от времени преподавал нам анатомию в Новочеркасске, когда сбежал или из Москвы, или из другого какого города. Мило принял, написал записочку, и в этот же день меня взяли санитаром в Русско-французский хирургический госпиталь.

Вот лежу в комнате, рядом на другой кровати спит штабс-капитан, санитар. Вспоминаю Сербию. Думаю, не плохо ли сделал, что уехал от Шуры, то есть из государственной больницы, где от половых тряпок и щёток своей долгой службой отделался и занимался только исключительно медицинской, а не этой унизительной работой, в которую теперь полностью окунулся. Нет! Приехал сюда учиться, всё это временно, так что горевать нечего, успокаивал я себя и на том засыпал.

Это чисто хирургическое заведение: восемь-десять хирургов один за другим оперируют каждый своего пациен-

та. После операции пациента или увозят к себе домой, или он остаётся на пять-шесть дней здесь в больнице. Всё здесь шикарно: десять великолепно устроенных комнат и по одному клиенту в каждой.

Теперь я хлороформирую клиентов от 9 часов утра и до 3 часов дня беспрерывно. Выхожу, качаясь от хлороформа. Обед русский; управляющий, князь Голицын, у которого правая нога ампутирована, кормит всех на славу. Мою хирургические инструменты и убираю хирургическую; сестра-фельдшерица стерилизует и готовит материал для очередной операции.

Приходит доктор Маршак, еврей, с молодой клиенткой, тоже еврейкой, замужем, имеет двоих детей. У неё goitre (струма), которая обезображивает шею. Нужно струму удалить. Пациентка, симпатичная дама, садится на операционный стол, смеётся и говорит доктору: «Смотрите, снимите струму хорошо, чтобы ничего не осталось». Доктор: «Не беспокойтесь, всё будет хорошо». Ей 28–30 лет, рослая, в силе женщина, но что самое главное — такая весёлая, такая жизнерадостная, что приятно на неё смотреть.

Операция начинается в весёлом настроении. Первое прикосновение скальпеля. Свищет кровь из перерезанных вен и артерий, подают щипчики-зажимы артерий, потом перевязывают их. Вот набирается полный пучок зажимов-щипчиков pran; операция затягивается. Меня замещает вызванный врач для хлороформирования, я стою рядом и смотрю за ходом операции. Всё залито кровью, хотя и чистится время от времени. Вижу, что доктор начинает просто пучками завязывать pran, что противопоказано в хирургии, спешит закончить операцию. Всё зашито, всё забинтовано. Пациентку свозят в её комнату. Вид у неё больше нежели слабый. Доктор закуривает папироску, чтобы этим собраться с мыслями, вернуть себе хладнокровие, придать уверенности себе и окружающим его лицам.

Вдруг прибегает сестра-фельдшерица и говорит: «Ей плохо: умирает». Доктор: «Дайте ей l'eau physiologie (физраствора)».

Все стремятся это сделать. Доктор стоит, молча курит, что-то, смотря на меня, собирается мне сказать, как выскакивает сестра-фельдшерица и говорит: «Она умерла».

От такой громовой новости меня как ударило по ушам. Доктор вскочил — и в комнату умершей, быстро оттуда вышел и бросил слова: «Предупредить мужа».

В больнице этой морга не было, покойницу увезли на другой день. Больно и обидно было видеть убитого горем мужа, а ещё больше — бедных сирот восьми–девяти лет, мальчика и девочку, и всё это — из–за глупости, кокетливости усопшей и недосмотра доктора. Вместо того чтобы курить и этим себя успокаивать — ведь он знал и видел, что клиентка много потеряла крови, истекла кровью, — ещё в хирургической комнате ей нужно было бы влить физраствора. Да, доктор дал маху, но мёртвого не воскресишь.

Профессор Алексинский меня пригласил к себе вечером на чай. На чае у него было, кроме его дочки–докторши, ещё два француза. Потом, когда мы остались вдвоём за столом у самовара, профессор мне говорит: «Знаете что, Михаил, вам необходимо подучить французский язык. В больнице вы ему не научитесь: там преобладание русских и русского языка. Вам нужно побыть во французской среде, тогда вы скорее научитесь. Курсы Медицинского института начнутся через восемь месяцев. Поезжайте–ка вы на юг Франции, куда я вас пошлю в больницу к французам. Там вы подучитесь их языку, приедете, и вам легче будет тогда учиться». Возражать мне было нечего. С большим чувством я поблагодарил его и пошёл в больницу.

Через неделю я ехал в поезде и смотрел через окно вагона на проходящие передо мной французские пейзажи. Едучи вагоном, подсчитывал, сколько у меня осталось в кармане. Билет очень дорого стоил, хотя я и ехал 3–м классом: дорога длинная, нужно пересечь почти пол–Франции. Место моего назначения — Монтобан.

Приехал, нашёл больницу, представился главному врачу. Поставили меня не в хирургическое отделение, как говорил профессор, а надзирателем в дом душевнобольных, то есть сумасшедших. Но куда деваться, в кармане денег не хватает: 50 франков на обратный билет, а где деньги на будущее учение? Раз в неделю только присутствую в хирургической операционной.

Работы практически никакой, целыми днями учу французский. Иной раз доктор Vallet даёт мне объяснение по

французскому языку. Читаю газеты, всё по-французски, перевожу и, конечно, смотрю за больными. Что неприятно, так это быть беспрерывно начеку. С сумасшедшим никогда не знаешь, что он натворит, и между ними есть убийцы. В общем, живу, служу и учусь французскому. Служба проходит монотонно.

Бал в Universite Politechnique (это чуть ли не первый политехнический университет во Франции), куда я приглашён и старший врач больницы, доктор Vallet с супругой и дочкой. Он приезжал автомобилем депутата Монтобана, который заехал за нами. Я уже был у Vallet. Танцую скромно. Доктор и мадам Vallet по очереди представляют меня своим знакомым и просят, чтобы я с ними потанцевал, что я и делаю. Танцую я хорошо, вдобавок Cosaque du Don (донской казак), стройный брюнет, красивый молодой человек, l'officier de Sante (медработник), так что «с нами не балуйся — мы сами с усами».

Выхожу я из буфета, где выпил лимонаду. Вдруг ко мне подходит один молодой господин (но не молодой человек) и говорит, что хотел бы, чтобы я потанцевал с его сестрой. Это «хотел бы» мне не по вкусу, но всё-таки из любезности я ему говорю: «С удовольствием, но я устал». Не обращая внимания на это, он говорит: «Вот она». Батюшки мои, что я вижу! Некрасивейшую цацу, расфуфыренную деву лет под 27. Тут он со своим нахрапом, а там — такая «красота», так что я на самом деле себя почувствовал «усталым».

Видя, что я не хочу танцевать с его сестрой, он начал меня оскорблять: «Mais vous etes russe de rien du tout et estimez vous heureux que je vons invite»* и тому подобное. Вежливо откланиваюсь и — ходу от него! Пришёл, рассказал моему доктору. Тот давай хохотать, а мадам Vallet — добавлять, что я маху дал, быть бы мне на ней женатым, ведь они самые богатые люди в Монтобане, и что её брат задался целью выдать замуж свою сестру холерной красоты, но до сего дня никак желающего не найдут.

Бал прошёл хорошо, но при выходе каким-то образом этот беспокойный брат с его «красавицей» сестрой оказался рядом с доктором Vallet, то есть с нами. Завязался разговор; познакомили и меня с ними и пригласили доктора с

---

* Вы никакой не русский, и здорово, что я вас пригласил.

супругой и дочкой к ним с добавлением: «Priere de ne pas oublier d'amener avec vous votre Cosaque «sauvage»* .

Раскланялись с очень любезными рукопожатиями. Брат с сестрой сели в великолепную машину и поехали, а мы все приятной и прохладной ночью пошли пешком, вспоминая разные эпизоды прошедшего бала. Но что меня удивило, доктор, высмеивая этого «брата сестры» пять минут тому назад, вдруг умилился быть приглашённым этим «братом сестры», говоря: «Qui de plus riche de Montauban, c'est quelque chose d'elsi euvits ches lui»**.

До отъезда в Париж я был настойчиво, но очень вежливо приглашён в гости к этому «брату сестры». Но как бы мне ни было неудобно делать неприятность доктору, я вежливо, но упорно отказался ехать в гости к этому «брату сестры», вспоминая, как он сказал, что «vous etes russe de rien du tout»*** .

Спустя пять–шесть месяцев я снова был в Париже. Записался на курсы в Медицинский институт Сорбонны на улице Кюжас. Денег сэкономил мало: проезд, покупка книг, первые деловые разъезды, квартира, пища и трёхмесячная уплата за курсы очистили моё и без того скромное портмоне. Наконец устроился в студенческое общежитие св. Михаила (Bed St.–Michel), но вот горе: всем первокурсникам нужно было уйти — то есть оставили только третьекурсников и четверокурсников, чтобы им закончить институт.

Наняли втроём комнату. Через месяц я первый ушёл, так как нечем было платить. В 1925 году нанял маленькую комнатушку за 30 сантимов в день. Работал, то есть раскладывал–сортировал письма на почте. Начинал работу в 10 вечера, кончал в 4 утра, а в 9 часов утра уже был на курсах.

В комнате холодно, прикроешься одеялом и, сидя на кровати, зубришь уроки. Голодал ужас как. Один раз по случаю праздника не получил за работу вовремя деньги и голодал, то есть ничего не ел, в течение 24 часов. Дал мне один француз–мясник половник супу, который остался от

---

* Просьба не забыть взять с собой вашего «дикого» казака.

** Это самый богатый человек Монтобана, и быть приглашённым к нему — престижно.

*** Вы никакой не русский.

продажи, и бросил туда горсть шкварок. С голодухи набросился я на эту еду, а через 5 минут меня вырвало: то ли от того, что с непривычки желудок сократился, то ли от того что, не разжевавши хорошо, проглотил всё так как было.

Моё учение в тот год в чужой стране, без близких родных (брат в это время жил в Монтобане), без денег было очень тяжёлым временем в моей судьбе, но я понимал, что недоучкой жить мне в низкой социальной среде. А стремление к хорошей жизни, которую я видел и которой жил в России, меня подталкивало: учись–учись–учись! — что я и делал.

Эта французская школа тогда находилась при Сорбонне. Готовили там Ag. San. (Agent Sanitaire — медработников–фельдшеров) для Индокитая и Африки. Если ты военный или попадаешь на военную или административную службу, то выходишь оттуда фельдшером в чине старшего сержанта (Ag. San. sergent major).

Познакомился с месье и мадам Sejourni, а также с их дочерью мадам Thouveuot и её мужем. Сразу они все мне стали помогать устроить как можно лучше мою жизнь. То, что ныне покойные месье и мадам Sejourni для меня сделали, может сделать только родной отец и родная мать, вот почему я так их всех и обожаю, и люблю, и тебе завещаю и любить, и жаловать их. Верно, все они давно умерли. Но их дети, внуки и правнуки остались. Если в жизни придётся встретиться с ними, знай, что они от хорошего человеческого древа; живи с ними дружно и по–братски.

Получивши диплом французского фельдшера, начал работать частно, то есть ассистентом при операциях, в лабораториях и так далее, а через восемь месяцев мне предложили ехать медработником в Индокитай. А для этого нужно было принять французскую натурализацию. Я отказался. Тогда мне предложили ехать во Французскую Экваториальную Африку (A.E.F.) медработником против сонной болезни (натурализацию принимать не нужно было), на что я и согласился.

Конечно, я ещё, возможно, и вернусь к моей жизни во Франции–Париже, но, в общем, там дни были полны учением и голодом, ужасным голодом. Ел я в день небольшую мортадель и кусок хлеба, запивал водой из крана, который находился во дворе. Да что там писать! Самое главное, что

я добился своего — получил диплом, и передо мной дорога была открыта.

Так вот, пройдя медицинский осмотр, получил деньги 3.000 франков подъёмных на африканское обмундирование: колониальную каску, сетку от комаров, железные чемоданы, колониальные сапоги, — а остальное у меня всё было. Перед отъездом в Бордо мой брат Александр плакал и говорил: «Брат Миша! Ну куда ты едешь! На кой тебе Африка и их сонная болезнь? Брось! Оставь! Ведь и так у нас жизнь неплохая». А потом сам через год приехал в Африку. Так всегда в жизни бывает, для этого нужно иметь рядом людей смелых, решительных и неглупых, каким я и был.

Французское Конго

Путешествие в Браззавиль

1927 год, июнь месяц. Погрузился на французский пароход «America», отчаливаем от набережной. Много людей, провожающих своих родственников в далёкую малоизвестную Африку. Многие плачут, расставаясь, как на пристани, так и на пароходе. Мне плакать нечего, да и не о ком — рад вырваться на свободу.

Поднялся на палубу, любуюсь пейзажем проходящих берегов Франции. Открытое море. Пассажиры, как говорится, утрамбовываются. Спустился в каюту. Встретил моего соседа по каюте, адъютанта Колониальной армии. В каюте нас двое. Еду 2-м классом. Бьёт гонг на обед. Мне отвели место за центральным столом, куда приходит время от времени капитан обедать, этим делая честь всем пассажирам за столом. Знакомимся.

На другой день у себя на кровати нашёл телеграмму. Читаю. Как приятно читать такую приветственную телеграмму — в открытом море, одинокому, забытому или, вернее, забывшему всех! Это телеграмма от мадам Thouveuot и мадам Mechna Спасибо им.

Познакомился с одним молодым человеком, который ехал в 1-м классе со своим дядей в Браззавиль, где тот директор банка, а он — служащий этого же банка. Вот так почти всё время провёл с этим молодым человеком, болтая, или играя в шахматы, в дамки, или гуляя по палубе. Один раз осмотрели с ним машинное отделение. А в другое время отдыхал от нечего делать на раскладном стуле или слушал играющих на пианино дам или мужчин, обедал, завтракал, купался-плавал в парусиновой ванне, куда накачивали морскую воду. В общем, наслаждался жизнью: «Птичка Божия не знает ни заботы ни труда, долговечно не свивает хлопотливого гнезда», — из стихотворения Пушкина. Вот так и я от последних мытарств жизни и переживаний отдыхал и никак не мог прийти в себя.

Начались очередные африканские причалы; первый — это Конакри. Всех оповестили, что придёт шхуна разгружать быков и чтобы к борту близко не подходили из-за волнения моря. Когда подошла шхуна, то её экипаж тоже

предупредили (морской офицер через рупор), чтобы никто не лез через перила парохода до тех пор, пока пароход и шхуна не будут полностью пришвартованы друг к другу.

Но вот шхуна не успела подойти, то есть приблизиться боком на 50 сантиметров к нашему пароходу, как один араб-коммерсант, прыгнув вверх, еле зацепился за борт нашего парохода (шхуна маленькая, а наш большой океанский пароход водоизмещением в 10.000 тонн), потом с большим усилием хотел ухватиться за перила парохода. Но ему успели помочь близко находящиеся пассажиры. Если бы не они, не думаю, чтобы он сам выбрался, так как ноги его болтались в воздухе, а туго затянутый четырёхугольный чемодан тянул его назад, то есть в волнующееся море. Не успели пассажиры его вытащить и поставить на ноги, как подлетает к нему разъярённый морской офицер, крича, что пароход отвечал бы за несчастный случай, если бы он произошёл. И — раз его по морде! два его по морде! — так что полотняная шапочка араба слетела с головы в море, где и потонула. Ну, думаю, вот тебе и начало Африки!

После всего происшедшего прибывшие со шхуной мелкие торговцы, как и «наш» араб-коммерсант, разложили свои африканские экзотические вещи для продажи. Желающие пассажиры спускались на всех остановках, я — нигде: во-первых, денег мало, а во-вторых, экономил.

Ну как полагается, был бал в пользу «погибших моряков». Провёл его скромно за одним столом с директором банка и его племянником. Пили лимонад и газовую прохладную воду, так как начало палить солнце Африки. А когда проходили экватор, то очень весело было. Тут тебе все военные и полувоенные игры, но в них я не участвовал, так как, чтобы быть участником игры, нужно было вносить за каждую игру 5 франков, а мне не до этого было. Ох и насмеялся я над всеми играющими, и в особенности над теми, которые пролезали через парусиновую трубу, а там через рукава насоса полоскали их морской водой (один чуть было не задохнулся) и очень даже усердно. На купленные для благотворительной цели два билета выиграл, как и всегда, какие-то безделушки, а так вся поездка вплоть до Матади прошла очень хорошо.

В Матади порт был пустой. Погрузились в вагоны; дорога жаркая и пыльная; сели, облокотившись на столик вагона. Приехали вечером в Леопольдвиль. На станции слышу, кто-то матерно ругается по-русски: за каждым словом по-французски — четыре сквернословия по-русски, что мне крайне не понравилось. Думаю: «Что за псих?» Слышу: «Где он?» На меня показывают пальцем.

Подходит, развязно представляется: «Инженер Клевер, есаул казачьих войск». Скажу откровенно: то, что он есаул казачьих войск, верно, так как во время революции принимали другой раз офицеров и не из казачьего сословия. Вот и этот есаул был таким же. Он кадровый офицер, но набрался казачьей удали, революционного ухарства и барского хамства — всё вместе взятое выливалось в хулиганство. Занимал он очень хорошее место: был подрядчиком одного километра железной дороги, за который получал по 1.000.000 франков за постройку. Пригласил обедать, но пришлось отказаться, несмотря на его все увещевания, так как я боялся сбиться с пути, будучи в группе едущих вместе на место службы.

Остановились в гостинице. Пообедавши, сразу пошли спать, так как гостиница тоже закрывалась ввиду прошедшей жёлтой лихорадки, эпидемия которой много унесла белых, а посему санитарный надзор был строгий. К мустикёру (сетке от комаров) я привык на пароходе, а посему, опустивши сетку от комаров, помолившись Богу, завалился спать.

Утром рано без вещей погрузились на пароход-паромик, который делал рейсы между Леопольдвилем и Браззавилем. Все ждали кого-то. Директор банка со своим племянником поехали автомобилем. Бегает какой-то сержант, спрашивает мсьё Льон-Бон-Вэн (Lion-Bon-Vin). Спрашивает и меня, показывает эту фамилию. Читаю. Нет, не я, хотя сбоку написано: «Agent Sanitaire». Но думаю, что это не я, так как утром на пароход-паромик погрузилось с нами ещё человек 12 нам незнакомых белых — одни на автомобилях, другие на ponce-ponce (каталка на одном колесе: ты сидишь посередине в корзинке, как на стуле, а тебя катят один негр впереди и другой сзади). Я же остался один на причале, вещей со мной не было. Сиротливо пошёл было, как вдруг подбегает ко мне снова этот сер-

жант в форме и говорит: «Вы фельдшер?» Отвечаю: «Да». — «Вы русский?» Отвечаю: «Да». — «Вы прибыли на французскую правительственную службу?» Отвечаю: «Да». Он тогда говорит: «Ну тогда вы Льонбовэн». Очень обрадовался, что меня нашёл, приглашает меня вперёд и — о ужас! — сажает меня в великолепную машину, где шофёр — негр. Садится со мной рядом, что-то шофёру-негру говорит по-негритянски, и быстро едем.

Прикреплённый к автомобилю французский флажок важно и правительственно шуршит, погоняемый ветром и быстро едущим автомобилем. Негр-шофёр, в красной феске, в военной французской колониальной форме, не скупится нажимать на кричащий клаксон (свисток). Все оборачиваются и дают дорогу нашей машине, в которой видят меня и со мной рядом важно заседающего в военной французской форме белого сержанта. В общем, мы — «большие люди».

Принят я был генералом мсьё Gedauru, военно-санитарным инспектором в A.E.F. Очень вежлив. Сказал, что бояться сонной болезни нечего и что в Африке не так страшно, как об этом пишут.

Начало службы в Браззавиле

Поселили меня в пустой больнице для белых сонно-больных — в общем, дачное место. Поселили ещё учителя Мартиникена, тоже временно, пока ему не дадут постоянную квартиру в Браззавиле, где он будет учительствовать. Он негр; по первому разу это для меня было курьёзно. Тем более что на фотографии, которую он мне показал, мать и отец — мулаты, и все их дети — мулаты, то есть со светлым цветом тела. Он только из девяти человек детей родился с цветом тела чёрным, как вакса, с чуть волнистыми чёрными волосами и правильными чертами европейского лица. Это побудило его ехать в Африку, потому что все его братья и сёстры сильно оскорбляли его, обзывая «sal negr», то есть «грязный негр».

Из трёх только что построенных двухкомнатных домиков мы занимали каждый по одному домику, внутри были кровать с матрацем, стол и стул. В тот же день (а было воскресенье) получили пригласительные карточки на визит в 9 часов утра к губернатору. Мартиникен приехал в один

день со мной, но после обеда. Хотелось одеться по-колониальному — во всё белое, да это был и закон, но вещи все были в таможне и ничего не сделаешь. Крепко я об этом беспокоился.

Набежали бои* наниматься — сколько хочешь выбирай: все рассказывают и хвалят себя на десятки французских слов, помогая как своим негритянским национальным языком, так и жестами, что они умеют делать хорошо. Поскольку дорогой много говорилось, что они воры, то я опасался, но всё же взял одного и его честности и порядочности проверил. Это солдат-негр — сторож домиков, где я жил.

Не могу не описать ночь с воскресенья на понедельник, которую провёл, так сказать, приятным и, в то же время, неприятным образом. Высадившись из автомобиля вечером (так как днём был приглашён на обед и ужин к старшему адъютанту Военно-санитарного управления), я не нашёл обещанных одеяла, простыни и мустикёра. После узнал, что за разговорами с приятным новым пополнением — частными белыми — и нескончаемой едой слуга (аджюран) забыл постлать постельное бельё. Та же беда и у учителя Мартиникена.

Лежу и слушаю, как солдат негр-сторож перебирает пальцами свой незатейливый из четырёх железных пластинок инструмент, под мелодию которого жена негра что-то дикое поёт. Откуда-то издалека доносится бум-бум их гонга тамтама, разного сорта стрекотание кузнечиков и пение сверчков, и издали долетает неприятный свиной «чм-чм-чму». Прибавьте к этому комариный писк, хотя и редкий (так как возле домиков вокруг на 25 метров всё вычищено); а тут мушки какие-то зудят. Вот, думаю, кусающий комар занесёт мне если не тропическую лихорадку, так жёлтую смертельную болезнь, эпидемия которой только что окончилась. Или муха цеце, кусая, занесёт тебе сонную болезнь. Комаров и мух в Браззавиле немало, несмотря на строгую гигиену: в заводях омывающей Браззавиль реке Конго они разводятся в изобилии.

Так вот, лежу и терплю эту первую тропическую ночь без мустикёра. Снял было штаны — так нет, из предосто-

---

* Бой (от англ. boy) — мальчик, молодой слуга мужского пола.

рожности снова надел. Лежу в штанах, пиджак под головою, вещи в таможне, а ведь завтра визит к губернатору.

Утром побежал, купил белый порошок и зубную щётку, чтобы побелить мою колониальную каску. Побелил. Сушится она медленно, а тут на визит надо отправляться. Ничего не сделаешь — пошёл. Прихожу, встречает сержант–негр. А в то время, какой бы он учёный по военному ни был, если ему не дали французского подданства, то дальше сержанта ему не подняться, так как чин адъютанта, то есть подпрапорщика, в колонии предназначался только для белых. И как во всех приёмных залах, та же самая процедура. Но меня огорчило, что я должен был повесить эту каску в её неподходящем виде на вешалку. О белизне её я столько беспокоился, и вот тебе на! — никто на неё не обратил внимания, а также и на мой полуколониальный костюм: брюки цвета хаки, конечно измятые, и тёмный пиджак. После, присмотревшись, я видел пять–шесть точно таких же касок с синим оттенком, то есть невысохших, как и моя. И над нами («Bleu» — «синими» из–за оттенка невысохших касок), то есть новичками, потихоньку уже смеялись местные и бывшие на этом визите колонисты.

Губернатор принял ласково, весело посмеялся над нашим беспокойством быть хорошо одетыми для визита к нему, за что я перед ним извинился и на что он сказал: «Теперь всё больше и больше приезжает европейцев в Африку, и время законы таможне накладывать».

Передал я ему моё рекомендательное письмо от мсьё Sejourni. Прочитал, сделался ещё более любезным, вспоминал про всю семью Sejourni и пригласил меня на все, повторяю, на все завтраки, полдники и ужины, как и было вплоть до самого моего отъезда в дикую глубь Африки. Вечером машиной отвозил меня к себе шофёр–негр.

Санитарное управление отправило меня на стажировку и конкурсные экзамены на фельдшера. Прошёл я это: каждую неделю мне ставили баллы при проверке моей работы и знаний в лаборатории Института Пастера (Institute de Pasteur) плюс теоретических знаний по экзотическим болезням, и в особенности сонной болезни, и так далее.

Преподавали два врача Института Пастера — директор и его помощник. Третьим был я; ещё один сержант–фран-

цуз и один студент-коммерсант венгерец. Последний после окончания стажировки, попав в дикую обстановку негритянских племён и растительности, не вынес одиночества белого между дикарями-неграми и рехнулся, то есть с ума сошёл; пробыл он там приблизительно с год.

В Браззавиле провёл время, как говорится, совмещая полезное с приятным: учился, вкусно и сытно кормился у губернатора. Утром завтракал и по воскресеньям весь день столовался с медицинским персоналом белых служащих. Бельё стирал и гладил мой нанятый бой.

Перед 14 июля французы готовятся — это их государственный революционный праздник. Они репетируют свои национальные танцы, декламируют, поют и всё такое. По пароходу ещё знали, что я умею танцевать. А когда на репетиции увидели, как я танцую, то так уцепились за меня, что проходу не давали, пока не согласился на выступление. Сшили мне русский костюм, сшил себе из чёрной клеёнки сапоги. Под пианино идут репетиции, причём последнюю неделю — каждый день. На мою репетицию, замечаю, что людей набивается больше обыкновенного. Когда иду по улице, то маленькие негритята поют что-то со словами «казак-казачок».

Праздник 14 июля 1927 года в полном разгаре: поют, играют, декламируют, танцуют бретонские национальные и старинные французские танцы. Публики было человек триста, понаехало на этот праздник из глубины A.E.F. приглашённых очень много, приехал и губернатор из Бельгийского Конго (Леопольдвиля) с многочисленными приглашёнными бельгийцами.

Вот и моя очередь. Перед расступившейся в зале публикой станцевал с двумя кухонными ножами, похожими на кинжалы. На хорошо сшитый дамами русский костюм, то есть штаны синего цвета и красную рубашку (материя взята из заготовленного материала для французских флагов), поверх надел чёрный халат, думаю, что китайский, так как на нём были вышиты серебром и золотом всякие драконы и розы, с широкими рукавами, который одолжил один из участников спектакля. Протанцевал-проплыл наурскую — гром аплодисментов. Играли на пианино.

Вдарил казачка негритянский духовой оркестр. В русском костюме, вихрем помчался я по залу: хотелось пока-

зать залихватскую донскую казачью удаль, выправку, утереть французам нос и поэтому усердно и старательно оттанцевал казачка. Вот стал — конец. Публика взревела, овации мне. Мало того что всё тряслось в рукоплескании и тянулось бесчисленное количество рук с рукопожатиями, а тут ещё грянул снова духовой оркестр казачка; все снова рассыпались, освобождая мне место. Но я устал, оркестр устал. Раскланявшись, хотел уйти. Нет! Снова гром аплодисментов. Губернаторша, губернатор, генерал с супругой и дочкой, директор Института Пастера и все-все высокие должностные лица, окружив меня, просили станцевать ещё раз, что я и сделал, хотя самым настоящим образом крепко устал от первого казачка, вернее перетанцевал. Несмотря на то что мало протанцевал, восхищение было если не в большей, то и не в меньшей мере как в рукоплесканиях, так и в выкриках: «Vive la Russie, vive Cosaque!» А ведь это был их национальный праздник и тогда французы недолюбливали русских за то, что коммунисты заключили мир с немцами без согласия союзников, то есть предали их.

Остаток праздничного вечера прошёл очень весело, я был всеобщим «указательным пальцем». Дамы наперебой старались потанцевать со мной, просили, чтобы я их научил хотя бы немножко русскому танцу, восхищались, удивлялись, а от мужчин отбою не было с бокалами шампанского или виски a la seute du Cosaque*. Уехал домой с праздника в 6 часов утра.

Время от времени от нечего делать ходил рыбачить на реку Конго. Вот однажды часов в пять сижу на пироге (негритянская лодка, выдолбленная из цельного дерева), оставленной на берегу негром, как будто на оставленном нашим казаком баркасе, и удочкой ловлю рыбу. Вдруг неожиданный выстрел сзади меня. Я встрепенулся, но в тот же самый момент увидел, как крокодил круто повернул туловищем у самой пироги, на которой я сидел, как полагается на корме, чтобы как можно дальше забросить удочку. Итак, повернувшись, увидел двоих белых с винтовкой французской марки «Lebel». Смеясь и извиняясь, подходя ко мне, они сказали, что они следят за этим крокодилом

---

* За здоровье казака.

вот уже с неделю; что он, крокодил, напал на одного негритёнка, вот так же вечером сидевшего, как я, на пироге, но негритёнок-рыбалка вовремя откачнулся и что пасть крокодила оцарапала ему только плечо. И что очень жалеют, что промазали, то есть не убили крокодила.

Однако в том, что они в него попали, я не сомневаюсь, хотя и не видел, как он подкрадывался ко мне. Так как он по обыкновению подплывает, потом поднимает свои выпуклые глаза из воды, как две зелёных небольших чернильницы, смотрит на свою жертву, выпячивая потихоньку только голову и, нацелившись, высовывается из воды с помощью своего могучего хвоста и открытой пастью ловко захватывает свою жертву. Но не всегда, как и случилось с этим мальчиком-негритёнком: видимо, пирога качалась или волной её качало и двигало, из-за чего крокодил дал маху и не схватил свою жертву.

Один раз поймал большую рыбу, тащу из воды — чуть не лопается шнурок. Вот, думаю, добыча! И вдруг — раз! — и что-то стало крайне легко, но что-то там есть, чувствую в руках. Вот, подтащил и вижу большую рыбью голову, которая хватает воздух, а туловище вплоть до самых жабр откушено или большой рыбой, или крокодилом, что часто случается в Конго.

Происшествия в служебных поездках

Ещё не раз вернусь я к описанию крокодилов. Происшествия, которое сейчас опишу, я не видел, так как прибыл на другой день после него. Но оно было настолько потрясающее, что о нём рассказывали и говорили, как будто оно произошло сегодня. Вот что случилось. 1929 год. В Людима (Ludima) есть небольшая речка. На её крутом берегу расположилась деревня, где был один белый администратор, с ним же и арестантский дом, в котором отсиживали наказание негры за мелкие преступления: кражи, драки, пьяные побоища, племенные и родственные распри и всё такое. Для своих нужд негры, как и все деревенские жители, брали воду в этой реке. Но ввиду того что там водилась уйма крокодилов и что не было ни одного года, чтобы крокодил не утащил негритянку (так как обыкновенно этим делом занимаются женщины), то администратор приказал в известном месте вбить частокол из дерева,

чтобы все, в том числе и заключённые, могли безопасно брать воду из реки.

Обыкновенно негры из деревни набирают воду в кубышки. Арестанты же брали вёдрами, которые поставляло французское правительство. Со временем одна или две палки этого частокола упали, образовался вход в этот частокол крокодилам. И вот, когда пришли два арестанта за водой самостоятельно, без охраны, один из них зачерпнул рукой с ведром воду. А его — цап! — за кисть руки крокодил и давай тащить в воду. Тот стал упираться и кричать о помощи. Второй же арестант-негр с испугу бросил своё ведро да бежать, крича о помощи. Пока он бежал, кричал, пока организовали быструю помощь с винтовкой в руках бегущего администратора, крокодил тащил и тащил упорно сопротивлявшегося негра туда, где он смог схватиться за частокол, через который пролез крокодил. И когда все были уже близко, то есть спускались по крутому берегу, крича, чтобы испугать крокодила, бедный негр, у которого иссякли силы на сопротивление, выпустил частокол, за который держался свободной рукой, и на глазах всех бегущих ему на помощь тихонько скользнул в реку за утащившим его крокодилом. Стрелять в крокодила администратору было невозможно, так как он мог убить жертву, а рисковать он побоялся. В общем, погиб бедный негр.

Расскажу про обезьян шимпанзе. В это время я был в группе геологов, которые искали золото в районе. Негров с нами было человек двести. Моё дело было лечить как белых, так и негров. Жили мы все в палатках, а негры из веток деревьев делали себе шалаши, уплотняя их травой хума (Houma). Это очень высокая трава в 3–4 метра с тонким тростниковым стеблем. Мяса было вдоволь, и мы, белые, кроме почек, языка, мозгов и внутренностей диких быков ничего другого не брали.

Этот край дикий, с небольшими зарослями в оврагах, а также небольшими лесами по окраинам оврагов, из которых брали начало многочисленные ручьи. Негров по группам в 50 человек каждые три дня отправляли пешком за их провизией, то есть за бататом, солью и солёной рыбой, а остальные 50 человек шли с геологами-разведчиками, рыли ямы в земле, поднимали и промывали гравий в речушках.

Один раз нашли золото в пласте гранита, который опускался под большим углом в глубину земли. Чем мы ближе подходили к Английскому Судану, тем больше инженеры-геологи (все французы) находили на поверхности земли в оврагах камушки с вкраплениями в них золота. Обыкновенно всегда мы останавливались у обрыва оврага так, чтобы после разведки как белые, так и негры могли бы помыться, наши бо́и днём могли бы поблизости помыть бельё белых, тарелки и кастрюли, а жёны негров — их небогатое тряпичное имущество.

В один прекрасный вечер огненное солнце быстро скатилось за край земли. Ночь мгновенно застала всех нас, как и всегда, вечером делившимися у стола дневными впечатлениями. Добавлю, что в этих краях львов, шимпанзе, буйволов, антилоп, змей-удавов и других, а в реках — крокодилов и гиппопотамов столько, сколько я никогда и нигде не видел, за исключением Английского и Бельгийского парков в Руанде-Бурунди.

Не успели мы зажечь лампу-молнию, как из оврага понёсся душераздирающий вопль с всхлипыванием и спазмами, становившийся всё тише и тише, пока и совсем не смолк. От такого смертельно страшного, разносимого эхом крика в кромешной темноте и как-то сразу смолкнувшего, скажу откровенно, волосы дыбом поднялись на голове. По уверениям наших негров, это змея-удав (Boa) поймала зазевавшуюся шимпанзе, которая полезла на ночёвку на ствол дерева, где пряталась змея-удав и где она её поймала и задушила. В этом негры были правы, так как на другой день у дерева нашли следы проползшей змеи с расширенным брюхом, а по сырой траве она оставляет убедительный и неопровержимый след, в чём я, живя в Конго, не раз и не два убеждался.

В одну из ночей инженер-геолог спал под мустикёром в палатке, а у ног его походной кровати горела прикрученная лампа-молния. И вот во время сна он чувствует, что кто-то его обнюхивает. Открыв глаза, что он видит?! Гиена его нюхает. От такого неожиданного и близкого неприятного общества, да ещё спросонья, парень перепугался. Но гиена, почувствовавши, что он проснулся, быстро смоталась из палатки. Конечно, он схватил как можно скорее свой револьвер из-под подушки, но кроме пяти дырочек в

собственной палатке и пальбы как бы по заказу из всех палаток ничего не произвёл. И ввиду того что гиена никогда не нападает и не ест свежеубитого мяса, а только дохлятину, то представь себе, какое у нас наутро было развлечение подтрунивать над этим инженером: «Слушай, так что — она тебя приняла за дохлятину?!» И тому подобное.

В другом месте у одной реки на протяжении 500 метров на берегу я подобрал 20 клыков гиппопотамов. В этих краях в 1929 году никаких жителей не было, так как ещё свирепствовала торговля рабами. Полуарабы–полунегры нападали на негритянские деревни, забирали всех, кто бы ни попался: негра, негритянку или их детей, — а потом гнали всех в Английский Судан, откуда переправляли для продажи в Аравию. В этих же местах границы англичане занимались и контрабандной продажей всякого рода оружия неграм для будущего их восстания против французов.

Разумеется, французы доподлинно знали и имена, и фамилии английских продавцов, но ничего им не могли сделать, так как свою грязную коммерческую продажу англичане совершали в английской колонии — Судане, и потому были не только защищаемыми, но даже и поощряемыми английским правительством. Конечно, они не гнушались быть и работорговцами, лишь бы товар шёл на руку, а посему наши негры боялись уходить одни без белых и быть неожиданно схваченными и переданными продавцу рабов.

Так вот, один англичанин из таких контрабандистов, торговцев рабами и оружием, был схвачен в джунглях во время сделки — продажи оружия и трёх негров. Трудно сказать, на чьей территории его схватили — на французской или английской. Французский администратор снял с него каску, ботинки, привязал его за верёвку, конец которой прикрепил к ти–пою* , предварительно связавши ему руки за спиной, и тащил его таким образом, как это делают шефы–негры с их неграми–провинившимися, вплоть до своего дома. Бросив его в пустой сарай с двумя неграми–стражниками, сам он пошёл принимать от усталости дождевую ванну.

---

* Ту–роу (ти–пой) — переносное сиденье.

Тем временем его жена из человеческих и, тем более, женских чувств, зная, что этот англичанин бежал, как раб, возле ти-поя её мужа босыми ногами, без каски, под палящим африканским небом, умирал от жажды, понукаемый подзатыльниками и хлыстом её мужа, сжалилась. Как-никак ведь белый же! Стыдно! Эта дама послала на подносе англичанину кофе, кусок хлеба и бутылку воды.

Увидевши, что бой несёт всё это к своему арестованному англичанину, разъярённый администратор-француз, выскочивши из-под ванны-дождя, нагнал боя, выбил из рук его поднос и, растоптавши всё, что на нём было, дав затрещину бою, пулей полетел в дом. И за такое самоуправство приказал своему сержанту-негру высечь свою жену, тоже француженку, десятью ударами плетью по заду.

Скандал! Небывалая история, чтобы лупить по заду женщину, да ещё белую, да ещё кого? Француженку! Сержант замялся: стыдно валить на землю и задирать рубаху белой женщины; он не решается, но тут на помощь приходит сам муж — администратор-француз с револьвером в руках, грозя застрелить за непослушание. Револьверное увещевание подействовало: она получила 10 ударов плетью по заду.

Потом слышал, что за произвол и глумление над беззащитной женщиной французским судом этот «герой» администратор был снят со своей работы и приговорён к двум годам тюрьмы. Жена же его получила развод с возмещением убытков, а англичанина выпустили на волю, учитывая всё то, что ему пришлось пережить.

Месяцев через восемь после этого происшествия мне довелось видеть этого англичанина на веранде одного кафе в A.E.F.: сидел и пил виски, утолял жажду... Да, бывали дела-делишки!

Трудности работы в Африке

Каждое утро встаёшь в 5 часов утра. Бой складывает походную кровать, стол и стул. С вечера он приготовил завтрак: варёное яйцо, или жареное мясо, или курицу и в бутылке воду. Всё это я сам лично проверяю, укладываю в ящик ти-поя, для этого специально приготовленный, то есть для провизии. Потом иду проверять, всё ли хорошо упаковано, уложено: микроскопы, медикаменты, столы,

стулья. Достаточно ли людей, не перезагрузили ли фельдшеры-негры своим имуществом носильщиков-негров, так как они беспощадны к себе подобным, грузят на них всё, что нужно и не нужно, лишь бы нагрузить негра до изнеможения. Скажем, грузит 5–10 коробок маниока — растения, корень которого съедобен после термической обработки. Это основной продукт питания негров. Маниок можно купить в другой деревне сколько угодно и по той же мизерной цене. Или навалит с его багажом ещё бананов, которых уйма в каждой деревне.

Распределивши и проверивши всё, идёшь вперёд, где тебя ждёт твой ти-пой. Садишься в него, негры носильщики дружно тебя поднимают, и под песню помогающих им негров, несущих наш разнообразный багаж, весело выходишь из деревни. Рядом бежит бой, обязательно в белом фартуке, с лампой-молнией в руках, чтобы показать своё превосходство всем встречающимся неграм или при входе в деревню, что он лицо, близкое к белому. И поэтому он важный человек и может быть запанибрата с шефом деревни и даже командовать им, когда надо приказывая: «Шеф, мне нужно дров, чтобы готовить еду белому!» или «Шеф, мне нужно воду (или курицу, или яйца, или вообще всё такое). Шеф деревни, конечно, даёт приказ; негритянки и их ребятишки тащат ему дрова, воду. Всё это поставляется, как правило, безвозмездно. А курица, дичина, яйца приносятся к дверям моей хижины, кладутся на землю, и я им плачу по установленным французским правительством ценам. Получившие деньги расходятся.

Так вот, теперь я в дороге, трясусь в ти-пое, люди немножко устали, не поют, но идут бодро. Вот подскочила смена и на ходу четыре свежих негра-носильщика сменили уставших, легче и веселее пошли быстрее.

7-8 часов. Оборачиваюсь, сзади беру из ящика с провизией заготовленный завтрак. Меня несут, а я завтракаю, уплетаю за обе щеки заготовленное. Поел вкусно и сытно, запил водой, поудобнее сел и увлёкся проходящим медленно, в соответствии с шагом несущих меня негров, пейзажем.

11 утра. Привал на 20-25 минут. Снова пошли. Тропинка суживается. Хума-трава, очень высокая, хлещет тебя по лицу. Осыпаются на тебя её семена. Впереди из-за её высоты ничего не видно. Надоело сидеть, соскочил с

ти–поя на ходу. Для этого нужно упереться руками в ти–пой чуть на мускулах, подбросить себя и ноги в правую или левую сторону ти–поя — и вот ты на ногах.

Иду быстро и все за мной тем же шагом. Время от времени рукой отклоняю склонившиеся от перероста или наклонённые ветром или проходящей дичью травы. Пейзаж меняется. Лес. Здесь прохладно. Корни деревьев, выступившие из земли, делают ходьбу трудной. Вот идёт земля на спуск. Сверкнула река. У реки кричим, зовём перевозчика с пирогой. Вещи — железные ящики — устанавливаем гуськом в пироге. Берём с ними и их несущих. И такая операция повторяется, пока всё и всех не перевезут.

А когда идут дожди, тогда хуже. Весь день тебя купает, сидишь, сжавшись в ти–пое, время тянется вечно, носильщики идут с опаской, скользят, падают. Тропический ливень льёт; колени, ноги — всё промокло. Во весь путь ни одной деревни кроме той, куда идёшь. Пушечный гром, страшные молнии. А если в лесу, так ещё хуже: жди, что свалится подбитое молнией, как правило, самое большое дерево и, если оно тебя или вас не раздавило, свалившись, так загромоздит тропу обрушившимися из–за него деревьями, что не пройдёшь: нужно с час, чтобы прорубить дорогу несущим багаж. А между свалившихся деревьев, их веток, лиан кишмя кишат до смерти кусачие муравьи разного вида, цвета, окраски и величины. А тут тебя тропический ливень поливает как из ведра.

А когда дождь–ливень кончится, то в лесу делается такая испарина, что дышать нечем. Воздух стоит, туман тёплый, духота лесная — всё это угнетает тебя; тело покрыто потом, который не испаряется; всё склизко на тебе, как на червяке–глисте. Это крайне удручает.

Наконец, добираешься до деревни, где хотя и немного, а всё же известное пространство прочищено, где видно небо и где воздух есть. И делается как–то легче дышать этим светлым, а не тёмным лесным спёртым воздухом, который душит тебя.

Не одного, не двух видел я португальцев–коммерсантов, глохнущих, чахнущих здоровьем, с жёлтым, просвечивающим, как воск, телом. А что поделаешь? Куда двинешься? Вложил деньги — терпи, живи. Выдержишь, выживешь —

тогда заработаешь, а нет — на нет и суда нет! Я ведь тоже приехал сюда не ахать и не охать, а зарабатывать, экономить, обеспечить мою будущую жизнь, рискуя подхватить сонную болезнь, что нетрудно здесь, в Маюмбе (Maeumbe), где всё негритянское население заражено ею от 75% до 95%.

Однажды я совершенно случайно нашёл человеческие черепа, передвигаясь из одной негритянской деревни в другую для выявления сонно-больных. Дороги никакой не было, а была тропинка, по которой мы двигались, то есть негры-фельдшеры, негры-носильщики наших вещей и я впереди на ти-пое. Я имел пять сенегальцев для охраны и на все непредвиденные случаи; они были с оружием — винтовками, но пули от них я держал у себя: таков закон, которому я подчинился, да иначе и быть не могло. Караван большой, человек в семьдесят, растянулся лишь потому, что тропинка была почти непроходимая: сплошные джунгли, упавшие деревья. Всё это нужно было прорубать, а тут ещё пошёл ливень. Люди начали скользить по траве или земле и падать. Другие оставили свою ношу и прижались к деревьям, прячась от тропического ливня-дождя. Мой ти-пой тоже встал, так как нужно было прорубать дорогу. Так мы двигались до 3-4-х часов дня. А тут ещё прибежал солдат-негр и говорит, что два ящика (железных чемодана — один с микроскопом и принадлежностями к нему, а другой с моими личными вещами) брошены носильщиками-неграми, которые сбежали. Я велел ему остаться у ящиков и обещал выслать людей из деревни, в которую мы направлялись.

Вышли на небольшую полянку. Сделали привал, дожидаясь прихода отставших носильщиков багажа. По разговорам негров понял, что этой дорогой ни один белый не проходил и что эту тропинку нанесли на карту по словам негров, жителей этой местности. Сидеть и ждать было невозможно, так как фуру, маленькие мушки с булавочную головку, напали на нас всех и сильно кусали. Разводить огонь было трудно после дождя, но всё-таки мы развели.

Дым начал разъедать глаза. Тогда я от нечего делать начал гулять по этой маленькой полянке. Тут ко мне приходит солдат-негр и говорит, что нашёл хижину, в которой спрятано негритянское оружие. Хижина оказалась у меня под носом, но ввиду того что она заброшена и вокруг заро-

сла травой, да к тому же находилась между четырьмя достаточно большими деревьями, чем была замаскирована, мне её было трудно увидеть.

Стоило мне открыть дверцу, как в глаза бросились шесть висящих человеческих черепов, привязанных одни за челюсти, а другие — деревянным крючком из ветки. Темя во всех этих черепах было прожжено и с выбитыми дырками. По рассказу местных жителей–носильщиков,

когда победители ели своих побеждённых негров, то они поджаривали голову, а дырку в темени делали, чтобы оттуда было легче мозг доставать.

Хижина эта была полтора метра вышины и столько же в ширину и в длину. Кроме этих шести человеческих черепов было ещё два панциря: один из буйволовой кожи с вшитыми в него ракушками и лоскутками буйволовой кожи, а другой — из много раз прослоённых и сшитых вместе циновок. Было ещё несколько пик, луки и стрелы, а также небольшая кастрюлька с неизвестным мне, да и уже сгоревшим содержимым. Взял я всё это с собой и таскал месяцев восемь, потом сложил в административном центре Моссенджо (Mossendjo), где и забросил их, так как я был послан в деревню Sabon-Loevinie против сонной болезни, и идти за ними две недели обратно в Моссенджо не имело смысла, да и служба не позволяла. И так как это был мой первый поход по Французской Экваториальной Африке, то я успокоил себя надеждой, что ещё буду иметь возможности приобрести снова подобную коллекцию.

Когда дошёл до этой злополучной деревни, то мне негде было остановиться на ночлег. Пришли мы туда часов в 12 ночи, а другие носильщики — и рано утром. Хижины оказались не больше одного метра вышины, сшитыми из коры деревьев. В середину нужно было лезть раком; длина этих хижин была сносная — метра два, но стоять там было совсем невозможно, а можно только сидеть.

Устал я ужасно. Если выйдешь на двор, то тебя кусают если не комары, то мухи цеце — носители Trypanosoma[20] — сонной болезни. Зайдёшь обратно в этот курятник-хижину, так задыхаешься от дыма, а без дыма нельзя — комары! Лежать на циновке тоже неприятно, так как на полу полно шиков (chiques — песчаные слепые блохи), которые залезают тебе под ногти ног и рук, влезают в эпидермис, где и разрастаются до величины горошины. Чтобы извлечь их, нужно брать иголку и выковыривать их, но так, чтобы этот шик не лопнул и не размазались его микроскопические яички. И если не продезинфицируешь или плохо продезинфицируешь после извлечения шиков, то ранка загрязняется, заражается, и немало негров от этого ходят беспалыми на ногах. Мне тоже случилось иметь такую же заражённую ранку; еле избавился горячей ножной ванной

с лекарством (hypermeupanol). Чтобы избавиться от них, всегда клал ботинки и носки на походный стул, ноги, ступни, тщательно мыл и изредка обмазывал пальцы ног керосином. Да! Тяжёлая была жизнь в A.E.F. в 1927 году в районе Моссенджо.

По дороге в Моссенджо ехал вместе с доктором Isasil, который передавал мне свою зону перед отъездом в отпуск, знакомя меня со всем и вводя в дело. Так, приходя в негритянскую деревню, выстраивали всех жителей деревни, то есть негров, негритянок и их детей, и прощупывали шейные ганглионы, некоторые пунктировали, придавливая ганглион, загоняли жидкость ганглиона в иголку с помощью пустого шприца и выпрыскивали жидкость на предметное стекло, покрывали стёклышком и смотрели под микроскопом, ища Trypanosoma, то есть сонную болезнь.

Когда приходили в деревню, то, как правило, останавливались в хижине шефа деревни. Обыкновенно она была полна паутины с сажей, которая висела кистями на внутренней стороне крыши и обметалась пальмовым листом. Пол, то есть утоптанная земля хижины, подметался этим же листом, после чего, если земля не поливалась водой, то устилалась банановыми листьями, чтобы избавиться от нашествия шиков в ноги под ногти. А походную кровать с сеткой-мустикёром трудно было вставить в хижину из-за малого её объёма.

Встречали нас как князей в старое время, да и есть из-за чего: два ти-поя с двумя белыми, караван с неграми — человек 125, тут тебе тащат железные ящики как с нашими вещами, так и с шестью микроскопами; тут и шесть негров-фельдшеров с их жёнами плюс шесть солдат-негров.

Доктор Basil — военный врач Французской армии в чине майора. И фельдшеры, и солдаты — все в военной форме. Я штатский, но у меня своя административная форма, то есть колониальная белая каска, белый китель с серебряными пуговицами и белые брюки с белыми ботинками или белыми парусиновыми сапогами, куда заправлялись брюки. В общем шум, гвалт, негры и негритянки улюлюкают, шлёпая себя по губам. Люди, несущие нас в ти-пое, тоже поют, бьют в гонг (тамтам). Всё кричит, поёт, улюлюкает. В общем, по здешним негритянским обычаям, навстречу идут шефы деревни с окружающим штатом, преподносят

нам убитую антилопу или какое-нибудь африканское животное, курей, яйца и всё такое. За это мы расплачиваемся, идём в отведённое и приготовленное для нас заранее посланным вперёд негром-солдатом место и располагаемся для завтрашней работы.

Открываю мой железный чемодан, наливаю сам мой маленький ночничок (шесть столовых ложек керосина за ночь). Даю моему повару одну столовую ложку соли: соль и керосин нигде поблизости не купишь, так как никаких факторий нет, а если и есть, то ходьбы туда две недели и две недели обратно. Поэтому всё европейское выпускаешь из рук по граммам. Часто вместо хлеба ешь жареные на углях незрелые бананы, или маниок, или что-то вроде хлеба — лепёшки из тёртых земляных орехов.

Случалось мне не иметь соли: носильщики-негры упустили чемодан с солью в порожистой реке, погибнуть ничего не погибло, так как река была мелкая, а вот соль вся растаяла. За сахар не беспокоился, так как, хотя и редко, а мёд приносили. Приходилось есть негритянскую соль серого цвета, пористую, хрупкую, вкуса пепла-золы, которую они делают из пульпы съеденных бананов: высушивши их, жгут, пепел от них собирают, добавляют ещё пепел от дерева, растворяют всё это в воде, а отстоявшуюся от пепельного раствора воду вываривают в глиняных кастрюльках, которые делают сами, до затвердения массы. Вот соль и готова.

Нападение леопарда

Однажды, не дойдя до указанной деревни из-за неточно обозначенного расстояния, нам нужно было остаться на ночлег в другой деревне, заброшенной неграми из-за обилия в находящемся рядом лесу леопардов: они много поели людей этой деревни. Вошли мы в неё к 18 часам. Все хижины были сильно разрушены временем и ни одна не имела крыши.

Мы с доктором расположились под крышами веранд хижин, но доктор Basil предупредил меня, что нужно подставить несколько веток с открытой стороны кровати, у кровати лампу-молнию и чтобы она горела всю ночь, так как леопарды здесь очень храбрые, привыкли воровать и есть негров, так что нужно принять все предосторожно-

сти. Что я и сделал, плюс положил себе под голову заряжённый револьвер.

Солдаты у костра расположились поблизости от нас, негры-фельдшеры — немного поодаль, а все носильщики-негры — группами по 18–20 человек полукругом вокруг нас.

Поужинавши, пошли спать. С дуновениями ночного ветерка время от времени нас обдавало дымом. Приятно было смотреть на тропическую декорацию, освещаемую огнём от костров, и рассматривать этих детей ещё дикой и примитивной обстановки жизни. На этом я начал засыпать, думая, что доктор немножко преувеличил в предостережениях. И заснул.

Вдруг ночью раздался крик всех негров. Проснувшись, вижу, что моя лампа-молния горит и что негры каждой группы раздувают почти что погасшие костры, все кричат, что-то говорят, но их говора не понимаю. А Цеке, переводчик, данный мне французским правительством для нужд моей медицинской службы, что-то не идёт. Спрашиваю доктора. Он мне отвечает, что леопард утащил какого-то негра.

Не верилось, а вернее никак не хотелось верить, что это могло произойти при таком сборище людей, горящих кострах и испускаемом ими дыме, храпе спящих или даже говорящих людях: при большом количестве людей даже ночью всегда кто-то и что-то говорит и разговаривает с другим. Начали допрашивать, кого леопард утащил. Потом стало выясняться, что хищник утащил повара доктора. Повар-негр, сенегалец, очень гордился, что имеет французский паспорт и что там было написано, что он по национальности француз. А посему он старался всегда держаться как-то отдельно от остальной массы негров, что, видимо, его и побудило отойти два-три шага от группы носильщиков, где он расстелил свою циновку, прикрылся своим пиджаком и заснул.

Нашли его сразу же на тропинке, по которой мы должны идти (и прошли), в 100 метрах от нашей остановки. Леопард выел ему весь живот и часть груди, а схватил он его по открытой правой стороне шеи, так как он спал, лёжа на левом боку. И что было больше всего удивительно, несмотря на поднятый колоссальный шум и крик взбудоражившегося привала людей человек в 150, это не обеспокоило и

не испугало леопарда, искавшего человека на таком близком расстоянии от поднятого нами шума.

Доктор очень жалел своего повара, так как он с ним провёл почти три года, да и повар он был хороший, а свою «французскую национальность» выказывал тем, что в воскресенье вечером после ужина садился у дверей хижины, где жил доктор или я, приносили ему большую–пребольшую кубышку с пальмовым или бамбуковым вином, и он напивался самостоятельно и «самосознательно» — вот и вся его жизнь. Похоронили его останки в середине одной из брошенных хижин, где мы ночевали.

Когда прибыли в искомую деревню, то посланный вперёд солдат не успел с местными неграми деревни доделать для нас (меня и доктора) хижину из бамбука. А тут такой ливень пошёл! Да ещё затянулся на три четверти дня. Пришлось снова лезть на четвереньках в хижину, сделанную из коры дерева. Там, где белые, то есть французская администрация, пришли, всюду найдёшь такие хижины из бамбука. А в этих краях белые ещё не были, так что по приезде в деревню, видя твою белую физиономию, даже куры — и те, кудахча, разбегаются. И очень часто по приходе не находишь жителей деревни, и только после, часа через 3–4, а то и на другой день, они потихоньку выходят из джунглей и осторожно пробираются к себе в обжитые ими хижины, которые находятся в 5–6–ти метрах одна от другой, обыкновенно на небольшой полянке, заросшей травой по пояс человека. Сажать негры очень мало сажают, так как редко кто имеет железную мотыгу, но машет (вроде ятагана) есть у каждого. Машет у них это и оружие, и домашний, и плотничий инструмент. Обиходное орудие: негр без него никуда!

Так вот, в этой деревне нашли мумию умершего шефа деревни. Сидел он голый на трёх скрещённых палках, ему поджали ноги, в правой руке он держал прислонённый к нему машет, а в левой — разбитую глиняную миску, из которой он при жизни ел. Он был полностью высушен и прокопчён дымом. Небольшой шалашик, в котором он находился, состоял из сплетённых прутьев и был обмазан глиной. Доктор приказал, чтобы это «зрелище», на которое страшно смотреть, полностью облепили глиной в 10 см, что и было сделано, хотя и с большим нежеланием. Но во

всяком случае, эта страшная чёрная негритянская мумия была раньше залеплена, чем доделан наш небольшой бамбуковый домик: крыша заняла много времени, да и то что мы залепили глиной это отвратительное высушенное чучело, не давало неграм большой охоты для работы. Пробыли мы в этой деревне три дня с опаской, но всё обошлось благополучно.

Негритянские колдуны

В жизни негров фетишёры, то есть колдуны, играют такую же роль, как и попы у иезуитов-католиков. Лечение негров белыми докторами, то есть европейской медициной, от сонной болезни, чесотки и других таких наглядных болезней, которые после применения европейских лекарств на глазах у всех негров проходят, явно и ясно подрывает — если только не уничтожает — всесильное право, авторитет, наживу и всё другое у фетишёра-мунганги. Вот он, знахарь-колдун, и старается всеми правдами и неправдами восстановить свои попранные права и подорванное доверие среди окружающих его соплеменников. Тогда он, вольно или невольно защищая свои права, взывает к открытому волнению, если не к восстанию против белых, их лечения и вмешательства этим в их сокровенную негритянскую жизнь.

Итак, однажды ночью слышу, как один фетишёр-ликунду (врачевальщик, который волшебно и таинственно лечит) забрался в лес, расположенный рядом с деревней, даже не опасаясь, что леопард может напасть на него, и этим показывая своим односельчанам, насколько его знахарство сильно, что даже леопард на него не нападает, ни ядовитая змея его не жалит, и что никакая загробная душа, блуждающая по лесу, его не страшит, чтобы соплеменники сделали заключение, что он, колдун-жрец, сильный и сильнее белых мунганг-знахарей, что он ещё сила и его по-прежнему нужно бояться, что все его знахарские силы с ним и чтобы об этом сельчане помнили.

В общем, слышу, что он кричит из лесу во всё горло:

1) что белые колют их в палец руки (чтобы видеть состав крови); 2) колют в шею (чтобы взять для микроскопа жидкость ганглиона для контроля, нет ли в ней Trypanosoma); 3) колют в спину (чтобы взять спинномозговую жидкость,

в которой, под микроскопом посчитавши лейкоциты, можно установить стадию сонной болезни); 4) колют в руки (либо прививку против сонной болезни, либо внутривенно Moranil (лекарство от гельминтоза) или же для лечения сонной болезни дают Atoxil (сорбент); 5) что нужно строить ndaku (домик-ндаку); что белые заставляют повышать стены их хижин; что заставляют чистить между их хижинами, чистить вокруг мбука (деревни), чистить тропинки, как идущие к ним, так и от них — тропинки, ведущие в другие деревни; что нужно дать людей нести как белых, так и их багаж с их белыми дава — лекарствами и тому подобное. Кончает тем, что теперь он поставил у моей двери дава — заговорное лекарство — и что я от этого несомненно завтра или послезавтра уйду. А ведь знал, шельма, что выявление сонной болезни я кончил и что назавтра собирался переходить в другую деревню, на что было заказано шефу деревни приготовить крепких, сильных негров-носильщиков.

Услышав, что он поставил у входа моей хижины дава, да к тому же прибавил, что «если я трону это лекарство заколдованное, то получу чесотку и у меня потом будут большие мава» (неприятности), я, встав с кровати и на всякий случай вооружившись револьвером, открыл дверь. И верно, у самой двери лежит черепок, на дне которого ложки две пепла, немного тёртого красного дерева, угольки, несколько перьев и каких-то косточек. Всё это я рассмотрел, сгрёб в присутствии шефа деревни, негров-фельдшеров, солдат, которых я позвал, и других негров, пришедших сами по себе, и выбросил со всего маху всю эту дрянь в лес в направлении, откуда пророчествовал фетишёр-лекарь, к всеобщему смеху меня окружающих, снимая этим со всех заклятие фетишёра-колдуна.

Приведу ещё случай. Однажды пошёл я на охоту часа в два ночи. Убил дикую свинью, оставил её на месте, а сам с моей собакой пошёл до ближайшей деревни найти человека, чтобы снести дичь ко мне. Солнце едва поднималось. Иду по тропинке, вижу показавшуюся хижину. И сразу же увидел все три маленькие хижины, насаждения маниока и батата. Слышу, кто-то кричит. Тихонько подхожу, чтобы говоривший не «вспорхнул», так как обыкновенно все негры без исключения, завидев белых, сразу убегали в лес,

бросая всё. Да даже и завидев незнакомого негра, то же самое, убегали, а потом, спрятавшись, исподтишка смотрели за пришельцем и, убедившись, что он никакого ни зла, ни неприятностей учинить не сможет, крадучись, недоверчиво, пугливо приближались, останавливаясь на приличном расстоянии, так чтобы в случае чего безопасно удрать.

Подхожу, крадучись, прячась за попадавшиеся мне навстречу растения. И слышу, что этот одинокий негр (там было три хижины на расстоянии 50–70 м друг от друга), как я об этом после узнал, горько жаловался на свою судьбу. Вот, мол, много лет он прожил, никому зла не делал, жил охотой и своим трудом, а тут тебе — на вот — ликунду заговорённое лекарство ему у дверей положили, что теперь на него все несчастья пойдут. Свиньи дикие или слоны разроют и съедят его маниок и батат. Гром, может быть, убьёт его и сожжёт его хижину. Змея может его укусить смертельно. И что он ни в чём не повинен, так как подарил фетишёру-колдуну петуха, дал ему половину убитой антилопы, снёс ему корзинку маниока, а что если батата не снёс, так его у него самого мало. А батат сажать — это женское дело, а жены у него нет, так как слон её в прошлом году убил. А посаженную кукурузу стадо обезьян всю на корню съело. Так что зачем это ему такое зло сделали и что теперь придётся идти в далёкую деревню к другому более сильному фетишёру-колдуну, чтобы узнать, кто это зло сделал и откуда оно пришло.

Прибавлю от себя: все фетишёры-знахари-колдуны между собой очень дружно живут. Обыкновенно это неглупые негры, в большинстве случаев — пожилые, хитрые пройдохи, хищные, как животные, и людоеды, в первую голову. И их называют ликунду, бато ликунду — люди-колдуны. Они не брезгуют разрыть ночью могилу (иной раз негры хоронят своих умерших родичей и в лесу), вытащить труп, уйти с ним подальше вглубь леса и там его доесть. А посему перед такими колдунами все другие негры в страхе, в почитании и в полной вере их примитивной, до смеху простой и ничем не доказываемой, чародейственно-знахарско-колдовской.

Большое значение для негров имеет огонь. Каждая хижина сохраняет свой огонь, то есть когда уходят из хижины, то прикрывают тлеющие угли большим слоем пепла, или же уходя берут головешку и на ходу размахивают ею, таким образом поддерживая огонь в горящей головешке. Придя на работу, то есть туда, где они рыбу ловят, или ставят силки на птиц, или роют западню для диких свиней, антилоп или других такого размера животных, там разводят огонь. Идя с охоты снова берут горящую головешку. Во-первых, при наступлении сумерек дым, испускаемый головешкой, даёт знать обонянию всех животных, что идёт человек. А во-вторых, в случае чего это как оружие: ткни такой горящей головешкой в морду любого зверя, и зверь от испуга моментально убежит. И я за всё моё пребывание в Конго ни разу не слышал, что какое-либо животное напало на идущего с горящей головешкой. Если же по каким-либо причинам огня в хижине нет и приходится обращаться в другую хижину за огнём, это большой стыд: одолжить огонь — это значит одолжить твоё счастье, твоё благосостояние, на что не каждый негр охотно пойдёт. А что остаётся — так это украсть этот «огонь жизни».

И вот один негр, потерявший огонь, забрался в одну из хижин деревни. Украсть-то он украл огонь, но был захвачен на месте преступления. И хозяева огня, два брата, связали вору огня сзади руки лианой, вогнали ему острый шип дерева в шею (есть в Конго деревья с острыми и длинными шипами в 6–8 см), привязали его к дереву там, где проходили красные хищные лесные муравьи, и оставили этого бедного негра на мучительную и долгую смерть — съедение муравьями. А кто в Конго или Африке был, знает, что такое красные лесные муравьи.

Однажды приезжает Inspecteur de la Maladie de Somiel — старший доктор. Конечно, стараешься быть любезным со старшим. Пообедавши, предложил ему поохотиться на обезьян, всё время скачущих по верхушкам деревьев у крыши моей хижины. Ружья у меня в это время не было, но у доктора было. От первого же выстрела обезьяны перепрыгнули дальше от нас по лесу. Мы крадучись идём за ними, советуемся, высматриваем, где они запрятались и в какой

гуще лиан. А обезьяны эти — хитрющие животные: спрячется в гуще листьев лианы и сидит не шелохнувшись, только изредка и незаметно лапкой откроет веточку или листик, который ей загораживает тебя видеть и знать, где ты. А увидевши, неожиданно для охотника прыгнет с ветки на ветку, ну а потом — снова преследование. Так вот увлеклись мы охотой и выслеживанием, как вдруг стало нестерпимо кусать, колоть, как ядовитой иголкой, в штанах, а потом по шее, в уши. Не успел очухаться — полезли в голову, глаза, ноздри. В общем, увлёкшись охотой, не заметили, как впёрлись в самую гущу идущих эшелоном красных лесных муравьёв. Набрали полные подштанники и рубахи. Как бы неловко ни было, отбежавши, растелешились и давай их выбирать.

Вечером решили, чтобы наш повар приготовил рагу из обезьян-макак, добытых нами. Доктор предупреждает, что его повар насчёт приготовления таких экзотических кушаний — не превзойдён никем из поваров ему знакомых белых. Сказано — сделано. Съели суп из печёнок обезьян: тёртые печёнки с перчиком, лавровым листиком, pili-pili (порошок острого красного перца и горчицы), вместо картошки — сердцевина молодой пальмы, что очень вкусно. Приносит бой второе блюдо — рагу с мясом обезьяны и рисом. Повернул я ложкой — о ужас! — малюсенькая, скрюченная, словно человеческая ручка вывалилась из-под ложки с прилипшим к ней рисом. Гм... Отвернул глаза. Дай, думаю, снова поверну ложкой, чтобы прикрыть такое гадливое зрелище. Ну и повернул, а тут тебе вывернулась обожжённая голова обезьяны-макаки, точь-в-точь — голова маленького ребёнка, да в завершение — вторая ручка, навалившаяся на череп макаки, как бы защищаясь или прося пощады. Нет! Не выдержал, извинился и сказал доктору, что не могу: уж так всё это похоже на человечину. Доктор расхохотался и сказал, что есть-то он мясо макаки ел, но что вот такой декорации пищи ему ещё не приходилось видеть, и, сплюнувши тошнотой, которая ему подвалилась под горло, крикнул своему повару: «Убери эту жратву негров!» Как его повар-негр, так и мой повар-негр, смачно причмокивая, доедали, обсасывая пальчики обезьяны и обгладывая её голову, заедая рисом и уплетая за обе щеки. А мы вспоми-

нали весь вечер, играя в шахматы, как обедали макакой-обезьяной.

Я никогда не видел летящей саранчи. И поэтому когда мне её показали в деревне Роанджи (район Бамбари), то не мог узнать саранчи в летящей туче, пока она не прилетела. Слышу, кругом негры, негритянки, их дети кричат, бьют в там-там, собаки воют, белые открыли пальбу. Выхожу я из палатки, спрашиваю у проспектора: «Отчего весь этот шум?» «Как, — говорит, — отчего, разве вы не видите, что саранча летит?» «Нет», — говорю. — «Как нет! Так вон же туча, которая движется на нас, это саранча и есть». Ничего не понимаю: туча как туча. Но вот вижу, что туча как-то медленно, но ясно стала передвигаться и как бы опускаться, а с этим её окраска начала темнеть, и минуты через две весь воздух вокруг был покрыт шуршанием крыльев саранчи. Было в это время часов 15–16, так что к вечеру саранча должна где-то сесть.

Насыпалось саранчи на землю в два пальца толщины. Когда автомобиль подъезжал, то он скользил по раздавленной саранче как по грязи. Набилась саранча в мою палатку, воздух насытился её землянo-прелым запахом. Негры бросились собирать саранчу, набивая ею все кастрюли глиняные, а один молодой негр, когда увидел, что целая гроздь саранчи повисла на ветке дерева, вскрикнул от радости и волнения: «А мама ньяма минги!» (Ой, мама, мяса много!) — и умер.

Задушивши в глиняных кастрюлях на огне саранчу, высыпали её сразу же на землю, предварительно немножко подметя, и этим делом занимались всю ночь и утро и столько, сколько могли, так как саранча — это лакомое негритянское блюдо, как и арабское. В общем, собирали этот урожай саранчи вплоть до восхода солнца. А как солнце взошло, крылышки у неё обсохли. Так саранча стадами поднимается и летит дальше, а до этого негры набирают её, сколько могут, не только с тем чтобы покрыть убытки от съеденных саранчой посевов, но и делая на долгие месяцы резерв.

Потом многие дни видишь, как негритянки просушивают задохнувшуюся в кастрюлях саранчу, чистят её, то есть отрывают крылья и лапки, а потом, чтобы есть, поджаривают её на пальмовом масле и едят с маниоком или

же растирают саранчу на камне и мешают её с мукой маниока (пунду). Это их каждодневные блюда: маниок, пунду, батат сладкий, бананы, рис, земляные орехи, пальмовые черви дождливого сезона, большие сверчки и так далее.

Вечером после работы гуляю по деревне и присматриваюсь к местной жизни. Вот один негр развернул из травы змею длиной метра в полтолра , взмахом машете отрубил змее голову и потом хвост с половыми органами, взял её руками за два конца и начал медленно водить змею над огнём, время от времени одной рукой держа за один конец, а другой рукой опуская сверху вниз, сдирая с неё шелуху. Жена его поставила глиняную кастрюлю на огонь. Он же после чистки змеи порубил её на небольшие колбаски и бросил их в нагретую кастрюлю, где они быстро зашкворчали, подбавил немножко воды, пальмового масла и красного жгучего африканского перца. Ото всего этого пошёл вкусный запах. Думаю, что блюдо было не из плохих.

В прелом пальмовом дереве разводится очень много пальмовых червей в большой палец руки толщиной и сантиметров 6–8 длиной. Эти черви очень лакомое блюдо негров. Приготовляют их так. Негритянка отрезает голову червяку и выдавливает из него его содержимое, которое похоже на тёртое сало, потом всё это мешает с тёртыми и поджаренными земляными орехами — арахисом и, без чего никогда не обходится, pili-pili, то есть стручком красной крепкой горчицы. Смешавши всё, она этим начиняет выдавленных червяков, а после поджаривает их на их же жиру. Мне приходилось их есть у одного негра-шефа; откровенно скажу, что блюдо очень вкусное.

Змея-удав в варёном виде тоже неплоха — вкус куры; гиппопотам довольно жилистый в жарком, а вот слона никак не мог есть, так как от него отдавало его слоновым потом, хотя мясо и было приправлено перцем, которого в Африке очень много (там он растёт в диком виде), и лавровым листом.

Похоронный обряд и каннибализм

Однажды ночью слышу глухое завывание в деревне. Оделся, тихонько вышел. Ночь тёмная. Хочу знать причину этого приглушённого воя, ведь негры многое прячут и

не хотят показывать свою дикую жизнь. Завывание доносится время от времени порывами ветерка. Иду осторожно, чтобы не вызвать подозрения своим шумом у кого-либо, кто мог бы выскочить из хижины и предупредить воющих о том, что белый идёт к ним. Завывание меня привело к предпоследней хижине. Так как хижины делаются из плетёнки, то в стенках не так-то трудно было найти щёлочку, куда я мог бы посмотреть. Я многое видел, но тут просто отвратительно стало. Скажу сразу, что, насмотревшись, я их не стал беспокоить, да чего доброго, мог бы вызвать недовольство, а там и обвинение, что не соблюдал их обрядов погребения и тому подобное. А наутро через переводчика я всё узнал. Снова пошёл и лично убедился, как всё это делается и сделано, и теперь вот описываю, что я видел ночью через щёлочку.

Хижина была битком набита неграми, негритянками и их детьми. Одни просто сидели на земле, другие, как всегда, на корточках. А посредине хижины на носилках, как на столе, лежала в слегка наклонном состоянии мумия человека. Под носилками-столом был несильный огонь во всю их длину. В конце носилок находилась большая кастрюля, куда негритята макали подпечённый маниок или сладкую картошку и ели. Духота, видимо, там стояла невероятная. Так как все они время от времени указательным пальцем сгребали с лица и шеи пот, стряхивая его на землю, а другой раз — и с груди. Все они были голые или же с какими-то листьями лопухов, прикрывающими половые органы. Но старые негритянки, как и негры, как закон, были полностью голыми. Время от времени старый негр, на шее которого и на кистях рук висели какие-то украшения из разных орехов и зубов леопарда, дикой свиньи, разных обезьян, хвостов диких животных (это я рассмотрел на другой день утром), выпускал какое-то мычание, чему хором все сидящие негры хижины подвывали в сурдинку дикими завываниями, но не разноголосо.

Насмотревшись на это зрелище, я не пожелал моим вторжением нарушать их обряда похорон и тем вызвать враждебное негодование. Я наслышался от раньше прибывших в Африку белых, что иногда не только в похоронных случаях, но и на других их негритянских празднествах, когда белые нарушают их своим вторжени-

ем–визитом, это вызывает у них взрыв ненависти, которая иной раз кончается смертью белых. И я счёл за благо так же тихонько убраться восвояси, как и пришёл, но горел большим желанием увидеть всё это поближе и знать в подробностях. А поэтому часов в 5 утра позвал своего негра–переводчика, которого ко мне прикрепило французское правительство для нужд моей медицинской службы.

Переводчик–негр по имени Цеке, бывший солдат французской армии со времени войны 1914–1917 годов, родом сенегалец, хороший и доброй души человек, мне потом в свободное время рассказал, что когда французы, ездя по Сенегалу и их деревням, набирали «добровольцев» для колониальной Французской армии, то он туда сразу пошёл. А когда вернулся в деревню свою, то нашёл хижину его родителей сгоревшей, а отца и мать убитыми сельскими жителями в отместку за то, что он записался к белым в армию. Правда, вернувшись к себе в деревню, он не нашёл уже больше той ненавистной враждебности к белым, но всё же она существовала, он опасался её. А посему снова покинул свою деревню и поступил переводчиком на французскую службу. Говорил он очень хорошо по–французски и знал много разных негритянских наречий. Ввиду всего этого он был полностью предан белым, а посему никогда ничего не скрывал от белых.

Когда я его позвал и рассказал, что ночью видел, он в ответ засмеялся, говоря, что это обычай чуть ли не всех негров Африки и что он постарается сделать так, чтобы я мог всё хорошо видеть. Негры негров не стеснялись, посему моему переводчику было легко убедить их позволить мне прийти и посмотреть.

Зашёл переводчик за мной сам. Когда я пришёл с ним к хижине с умершим, у дверей её были пять моих солдат–негров с винтовками и несколько негров этой деревни. Не успел я подойти к открытым дверям хижины, как оттуда вылетела с криком негритянка, у которой были белые повязки из растения (это те кактусовые растения, которые растут у всех рек и болот Африки; длиной они с 1 м, а шириной в 2–6 см; освобождая сердцевину их и очищая, получаешь длинную ленту светлого цвета, а белой становится она, когда побелишь её в белой глине) на лбу, голове, на ру-

ках и выше рук, на ногах и выше ног, на груди, под грудями, на животе и на бёдрах. Она корчилась и кричала, невозможно кривляясь и танцуя заупокойный танец своему усопшему сыночку, загрызенному на днях леопардом. Всё это мне переводил здесь же на месте переводчик Цеке.

В хижину пустили только в двери к ногам покойника. Весь он был — и лицо — запелёнат в листья банана. Воняло от него очень сильно. Спрашиваю что они варят в кастрюле. Цеке отвечает: «А вот, видишь, что капает в кастрюлю от «моту акуфи» (умершего человека) — вот это и есть их варево, что дети едят».

Хотелось вдарить ногой в это их варево и разогнать их всех, но удержался, так как дал слово, что бы я ни увидел и ни узнал, ничего не буду делать и ничем не помешаю, а посмотревши, уйду. Так что ничего не поделаешь, раз дал слово, которое уже облетело деревню, то нужно держать, тем более это слово белого. Но всё же я спросил, не было бы это благоразумно разогнать всё-таки их, на что Цеке и подошедшие фельдшеры-негры посоветовали ничего плохого не делать, так как от этого может подняться восстание и мы можем быть перебитыми. Как бы мне ни было неприятно видеть это каннибальское захоронение, да ещё в такой культурный век, ничего не сделаешь — пришлось подчиниться.

Пришли к себе в хижину вместе с Цеке, где мой переводчик всё детально рассказал. Вначале умершему разрезают в длину все мягкие мясистые части тела — мускулы и живот — и начиняют их листьями маниока и потом связывают-затягивают верёвочными отростками сладкой картошки. Вот почему я видел этого мертвеца затянутым, как колбаса. Потом кладут его на наклонные носилки-стол и подогревают в течение 3-4-х дней вплоть до того, пока, греясь день и ночь, весь мертвец не подопреет-провоняет. Всё это время никто не ест, не пьёт, а если пьёт — то в небольших количествах пальмовое или бамбуковое вино, но ни в коем случае не ест. Дети — да! — они не могут вытерпеть не евши 3-4 дня, а поэтому им разрешается есть юшку, текущую из мертвеца в кастрюлю — ту кастрюлю, в которую, как я и видел, негритята макали сложенными треугольником листками patata и ими как ложками забирали эту мертвецкую юшку и пили её.

За эти 3–4 дня негры уже измождённые, уставшие и очень-очень голодные. По приказу фетишёра старые негритянки (повторяю, только старым негритянкам разрешается этим делом заниматься или же старым неграм, причастным к фетишизму) берут это мёртвое тело негра, поджаренное-подпаренное, режут его на куски; тризна по усопшему посредством съедения его проголодавшимися родственниками, как и матерью с отцом, совершается только ночью. В этом участвует вся деревня. «Вот почему ты видел столько больших кастрюль, поставленных вокруг хижины умершего», — добавил Цеке.

За таким душевным разговором я спросил его, правду ли немцы говорят, что как будто бы на прошедшей войне 1914–1918 гг. солдаты негритянского войска Французской армии их ели? «Это, — отвечал Цеке, — было. Ночью наши солдаты-негры вылезали из окопов и лезли туда, где был днём бой и где лежали убитые немцы. У них отрезали ноги или руки, тащили в окоп и там жарили и ели. Другой раз случалось, что немец ещё не умер, то есть был тяжело ранен, но не убит; это не мешало солдату-негру отрезать от живого немца руку или ногу и сожрать в окопе».

Спрашиваю Цеке: «Ну а что французы-офицеры на это говорили?» Ответ: «А они что? Смеялись. Ну а потом стали запрещать. Война ведь везде война, как и вкус у негров Африки». Так что, выходит, правда, что солдаты-негры жрали убитых и раненых немцев, про что я слышал, будучи ещё в России во время войны 1914–1918 годов.

Негр-шеф Момбасы, негритянский король по фамилии и имени Мадангба, был свиреп. Негру-вору или не почитающим его (короля) соплеменнику или соплеменнице он насыпал в руку соль и заставлял ходить с протянутой рукой с солью в ладони, приглашая всех желающих деревни убить себя и съесть с этой солью. Такая жертва ходила так другой раз по 2–3 вечера (это делалось только вечером, когда негры сходились после их работы-охоты) по деревне, крича: «Желающим убить и есть меня — вот у меня соль, чтобы меня есть». И сам шеф-король Момбасы слыл заядлым людоедом.

Его брата бельгийское правительство за людоедство повесило. От него Мадангба, с согласия бельгийского правительства, и перенял власть. Был он многоженец, имел не меньше 20 жён. И как часто бывает в таких случаях, нег-

ритянки изменяли своему мужу. Одна из них была захвачена на месте приключения (адюльтера). Как наказание за измену шеф гарема связал ей сзади руки, расставил ей ноги в разные стороны и привязал концы ног к палке, а во влагалище вставил пылавшую раскалёнными углями палку. Негра, решившегося на такую смелость, Мадангба хотел убить, но тот удрал. За ним погнались. Видя, что ему не уйти, он бросился на первую попавшуюся пальму и взобрался на неё на самый верх. Гнавшиеся за ним негры окружили пальму и приказали ему слезть; он отказался. Тогда они разложили вокруг пальмы много сухой травы и подожгли. Пламя вихрем поднялось вверх, над пальмой, и поджаренный негр свалился в огонь.

На всё это бельгийское правительство в 1940 году смотрело сквозь пальцы, не желая ни вмешиваться, ни подрывать авторитет деспота шефа–негра.

Заболевши эмфиземой и лечась как европейскими, так и негритянскими лекарствами и видя, что ничего из этого не выходит, негритянский король сказал, что до тех пор пока он не съест человеческого мяса, не выздоровеет. И решил убить негра для такого испытанного исторически лечения. С чем все негры были согласны, заявляя: «Да, поевши человеческого мяса, все люди от многих болезней выздоравливают».

В жертву он наметил одного негра, который нигде не был записан и платил подати ему лично, да к тому же не купил, а украл себе жену и жил где–то поблизости от белого агронома. Выдать его сам шеф не решался, так как прикарманивал его подать, но втихомолку убить и съесть его мог, так как тот нигде не был зарегистрирован, да к тому же хотя и из местных жителей, но другой, не его раб–негр.

Посланные шефом слуги схватили указанную им жертву, и быть бы тому в желудке шефа, но верная ему жена прибежала и упала в ноги к белому агроному. Такой решительностью она сама рисковала жизнью. Конечно, белый сразу же принял меры; жертва была немедленно освобождена, и шефа Мадангбу отправили в больницу в Паулис, где он и умер.

В Ватца во время последней Отечественной войны в гостиницу пришла негритянка с корзинкой на голове продавать мясо. Хозяйка гостиницы, белая, зная, что негры

часто едят человечину, была крайне осторожна с мясом. Она купила мясо, зная, у какой негритянки, да и бои гостиницы знали продавщицу-негритянку хорошо.

Приехал с запозданием откуда-то муж. Хозяйка показывает мясо и говорит, что негритянка сказала ей, что это мясо дикой свиньи, но она находит, что мясо очень красное. Тогда её муж взял оставшийся кусок мяса (остальное повар-негр приготовил в разных блюдах, и всё это было подано и съедено европейцами) и пошёл показать комиссару полиции. Посмотревши, комиссар полиции тоже нашёл мясо подозрительным и послал его к доктору. Тот по мясу и лучевой кости посредине сразу определил, что мясо это человечье.

Нашли продавщицу, а потом и всех участников гнусного дела. Оказалось, что это секта знахарей. Им нужно было делать лекарства, а для этого нужно было вырезать — и только от человека — кружочек мяса на лбу, глаза, печень и ещё что-то (забыл, что именно). Всё это они мешали с древесной золой, растирали, сушили и продавали. С тела же убитого сдирали кожу и продавали мясо. Жертвами их были обыкновенно негритянки вольного поведения, которые, торгуя собой, перебирались из одного городка в другой на камионах с неграми-шофёрами, уплачивая натурой за проезд. А посему точно никто не знал, ни как они звались, ни откуда они. А ведь сторона эта — джунгли. Вот такие-то безымянные три негритянки стали их жертвами.

А кто были эти знахари-негры?! И поверить-то тяжело: окончившие духовные католические семинарии приказчик, служащий банка, служащий дирекции золотопромышленной компании. Их было четверо. Большую часть своих жертв эти людоеды сами пожирали. Судили их в Стенливиле. Одного или двух повесили, а других приговорили к долгим годам тюрьмы. И что меня удивляет, ведь образованные были все эти четыре негра и вроде культурные.

Говорят, когда европейцы, которые столовались в этой гостинице, узнали о происшедшем, их рвало вначале. А потом они гордились, что вот, мол, невольно им пришлось есть негритянское человечье мясо и что по вкусу они не отдали себе отчёт в том, что мясо было человеческое: так это

всё было посолено, наперчено, с соусом тар–тар и другими майонезами. Браво повару!

Людоедством негры занимаются и по сей день. И не так давно негр одной деревни боялся пойти в другую деревню, в особенности ночью: такие ходоки обыкновенно исчезали навсегда. И ввиду того что никогда и ни в какой негритянской деревне вы не найдёте кладбища, повторяю: кладбища, у них их нет и никогда не было, и проверить на кладбище число умерших не представляется возможным.

Гигиена у негров

Бамбари. 1928–1929 годы

Что такое гигиена для негра? Да ничто. Мать его родит на земле. Спит он на земле. Ходит он совершенно голый. За нуждой, то есть за большим и маленьким, ходит там, где стоит, сидит или лежит. Живут они редко значительными группами, большей частью — распылённо. А вот когда забрали их для проспекции (исследования), когда нужно было жить скученно, то есть небольшими деревнями, когда им построили «арабские нужники», когда прорубили тропинку и вычистили вокруг места, где они берут воду, когда им запретили мыть кастрюли и бельё там, где они берут воду для питья, и всё такое — это им было очень непонятно.

А в особенности было неохота ходить в определённые места — в нужники. Куда легче: вышел из хижины, завернул за заднюю её стенку, опорожнился — и делу конец. А то извольте пройти метров двадцать, следя, чтобы какой негр не сидел там раньше тебя. Это ещё полбеды, а когда негр встретит вот так негритянку, на такое её муж серчает. А если всё прошло хорошо, то изволь ещё взять деревянную лопаточку и бросить туда земли. Нет, не понятна неграм такая наука.

И нужно же было, чтоб рано утром, в воскресенье, шёл проспектор (лаборант) доктора Рара, итальянец по национальности, на охоту. Видит, негритянка как раз заворачивала из–за этого скромного уголка. Сразу понял, в чём дело. Зашёл, глянул. Так! Лежит след преступления на месте полукалачиком. Вскипел наш итальянец от негодования к негритянке и к её невежественному отношению к гигиене. Есть приказ строго соблюдать гигиену, а также научить и

приучить к ней местное население. И итальянец сразу взялся за это дело. Выволок эту негритянку за руку из её хижины (муж её успел уйти в другую деревню по делам), приволок к её личному дерьму и под угрозой ружья заставил её есть, что она с испугу и сделала: дрожа, съела половину собственного дерьма. Итальяшка, по его словам, не мог больше видеть эту «porca Madonna» (свинячью мадонну) — чавкавшую дерьмо негритянку — и милосердно приостановил вторую половину наказания.

Вернувшись, муж этой негритянки собрал приятелей, а может быть и родичей, и хотел помять кости итальянцу. Но тот был вооружён, да как власть, так и вся сила были за итальянца. Администратором в это время был мсьё Heboue, впоследствии губернатор. Он всех сразу успокоил, хотя и сам был типичный негр, чёрный, как смола, с длинными острыми конечностями пальцев, с животом шимпанзе — как и с физиономией. Другой раз по приезде в Роанджи для игры в теннис его спрашивали: «На чём вы приехали?» А он, приятно ухмыляясь, отвечал: «На четырёх маниоковых силах». То есть на ти-пое, несомом четырьмя носильщиками-неграми, питающимися только маниоком. Удивительный этот народ — негры: дай ему немножко есть и не беспокой его работой и он делается полным рабом; это у него в крови.

Бельгийское Конго

1930-й год. Момбаса

В Бельгийское Конго я попал, переехавши паромом реку Момбаса, с багажом, погружённым в автомобиль-кар. Прибыл в Бондо, переночевал, утром посадили меня на платформу вагона, вещи рядом, паровоз-кукушка сзади, я на платформе впереди.

Едем медленно, насыпь не утрамбована хорошо, быстро двигаться опасно. В одном месте большущая змея, параллельно платформе вагона и в том же самом направлении, с телом, приподнятым чуть ли не на один метр вышины, скользила и, по моему мнению, старалась вскочить на платформу. Я же, сидя на чемоданах, хотел было соскочить с них в другую сторону платформы, но змея рванула в сторону и исчезла в кустарнике. Неприятное впечатление, после которого чувствуешь себя как-то облегчённо.

Маленькая станция в землянке. Телефон. Подходит белый, знакомимся: итальянец по фамилии Nezozi, прокладчик шпал. Шпалы железные, и другие в Африке Конго не могут быть. Будь шпалы деревянные, то есть как в Европе — из дерева, их давным-давно бы или термиты изъели, или сгорели бы под тропическим солнцем, или же быстро попрели от постоянно влажного воздуха и влажной земли.

Приехал в Акети, поселился в гостинице «Vicicongo», построенной из заранее заготовленных железных перекладин, между которыми вставлены деревянные рамы, так что, когда идёшь, слышишь гул под тобой скрипящего пола и эхо дрожащего коридора. Но тут культура — Европа, что приятно ощущать, хотя бы и в центре Африки.

Акети — приятный европейский посёлок домов в двадцать, с большим портом на реке и с хорошей европейской благоустроенной больницей и двумя магазинами с разными хорошими европейскими товарами, что радует глаза.

Приходится жить в гостинице с неделю, пока загружают баржи с орехами пальмы, рисом, арахисом, пальмовым маслом и деревом. Хожу, гуляю, как говорится убиваю время. Правда, приходят другой раз два-три европейца выпить пива и уходят. Управляющий гостиницы, португалец

по фамилии Mamco, состоит на службе в управлении железных дорог, человек молодой, со всеми замашками старого колониста: то есть много говорить, быть развязным, всё знающим, много и ничего не охватывающим, беспечно смелым и всегда и на всё готовым, полным энергии и никакой работы не страшащимся.

Однажды меня вызвали в столовую гостиницы. Вижу, стоит высокий человек, блондин, но с ярко выраженными чертами лица еврея, лопоухий, с отвислыми углами рта, нос крючковатый. Обращается ко мне по-французски, спрашивая мою фамилию. Называю мою фамилию с русским произношением. А если бы говорить с французским, то было бы не Любовин, а Льюбовэн. Он сразу переходит на русский язык и представляется: «Доктор Цукерман». Приглашает к себе.

У него пьём сельтерскую, то есть газированную, воду. В эти времена я спиртных напитков избегал и не пил. За разговорами он расспрашивал, так, между прочим, куда я ездил, где в Африке служил, почему еду, про то, про другое, а также где учился, что кончал. Удивился, что так прилично говорю по-французски. Да и он говорил на этом языке приблизительно так же, как и я, но только со своим акцентом.

Я, в свою очередь, спросил, почему и как он узнал, что я вот здесь в Акети нахожусь в их гостинице «Vicicongo», ведь я не был врачом этой компании, строящей железную дорогу, по ветке которой ехал от Бондо до Акети.

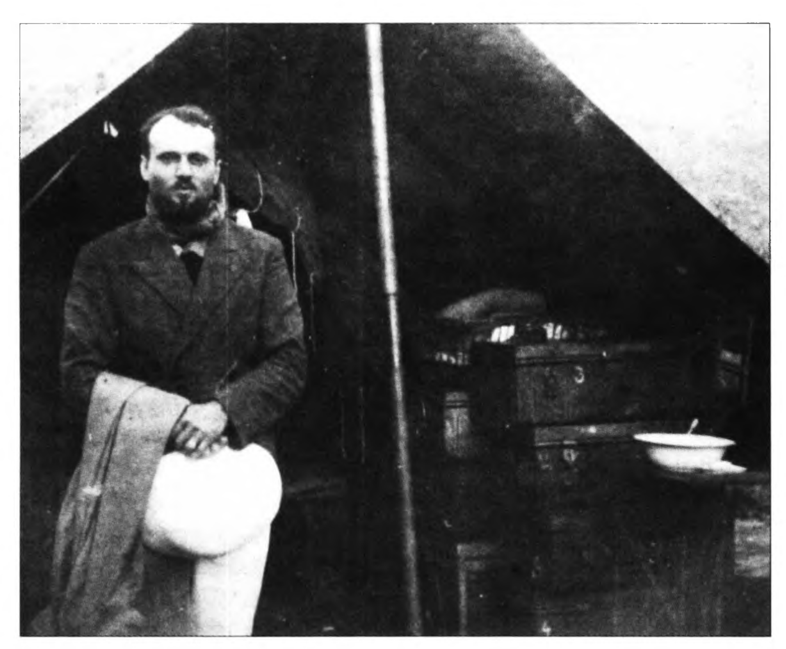
Он сказал, что от нечего делать читает входящий и исходящий журнал, то есть книгу пассажиров. И когда увидел, что я русский, да ещё классный фельдшер с французским дипломом, то решил прозондировать, не захочу ли я остаться у них как фельдшер, в котором они крайне нуждались на местах стройки железной дороги. Там находился доктор Соломенцев, которого я уже встречал во Французском Конго. А посему, если у меня есть желание поступить к ним, то ему хотелось бы посмотреть мои документы, чтобы иметь возможность отрекомендовать и принять меня.

Менять место мне не особенно хотелось, а тут самолюбие заело, что «он посмотрит мои документы» и так далее. Думаю: «Посмотреть-то ты посмотришь, а вот чтобы по-

ступить к вам — мне это не нужно». Ну так с этой гордой мыслью похвалиться моими дипломами и пошли мы в гостиницу.

Узнавши, что на правительственной французской службе я получал 3.000 франков в месяц, он мне сразу бухнул, что я буду получать у них 5.000 франков в месяц. Меня это приятно ошарашило. Но я не мог решить, что делать, тем более что собирался ехать на отдых с перспективой покататься океанскими пароходами, побыть в Европе, подышать свежим прохладным европейским воздухом, поесть европейскую пищу и так далее. Плюс три месяца полного жалования по приезде в Париж, то есть отпускных денег.

Доктор Цукерман от меня теперь не отходил. Уговаривал отказаться от возвращения в Европу. Говорил, что дирекция «Vicicongo» согласна по истечении двухлетней службы у них оплатить мою поездку в Европу, плюс дадут снова как отпускные за три месяца по 3.000 с правом на reengagement, то есть на взятие меня снова на эту же са-



Михаил Любовин. Бельгийское Конго. 1938 г.

мую службу на три года. Но это ещё не всё: дают мне не 5.000 в месяц, а 5.500.

Такие небывалые условия, здоровье моё хорошее, так почему же не рискнуть? Кто меня ждёт в Европе? Кому я нужен? А будущее обеспечить надо и положить лишнюю копейку в банк неплохо: сбережения — это моя цель. Правда, я ещё не знаю, что я буду делать со сбережениями, но они мне нужны, просто необходимы: я один за границей, без родины, между чужими людьми, то есть нужно во что бы то ни стало обеспечить будущее, мои старые года. А работа фельдшером строящихся железных дорог мне знакома, страшиться нечего, ведь не на сонную болезнь работать иду, где есть вероятность 75% заболеть этой опасной болезнью. Не так страшно заболеть, как мучительно в то время было лечение: ломберная пункция, внутривенные впрыскивания Moranil, Atoxil, подкожные впрыскивания, пункции ганглиона, кончика уха, мякоти пальцев и так далее.

В общем, подписал контракт на два года с директором M-r Henriot на обоюдно приятную сделку. Вечером у директора омыли всё это широко шампанским во время хорошего обеда в приятном и весёлом бельгийском обществе. В центре внимания были я и доктор Цукерман, который так удачно нашёл знающего, хорошего фельдшера.

Относительно постоянной визы пребывания в Бельгийском Конго взялась хлопотать для меня лично дирекция «Vicicongo». Так что я впоследствии ни о чём не беспокоился и получил всё то, что было надо.

Пробыл я ещё несколько дней в Акети, и меня послали в Титуле, а оттуда — в Руби, где жил доктор Соломенцев и куда приближалась строящаяся железная дорога Vicicongo[21]. Пришлось его ждать, приехал он на ти-пое с линии. Было приятно встретиться ему со старым знакомым по A.E.F. — строительству железной дороги. Это было в январе 1930 года, в начале моей службы в Бельгийском Конго.

Как я стал плантатором-колонистом

Я всё время находился в разъездах, изо дня в день, и было вполне нормально, что мне за пять лет такой службы очень это надоело. Когда разъезжаешь по медицинской службе, видишь, как люди сидят у себя дома, или, вернее говоря, живут осёдло. Приятно: у них и свой домик, и цвет-

ник у домика, и куры и утки возле дома, хотя эти шкодливые птички с крыльца не сходят, чуть не каждые пять минут нужно их гнать, а если не прогонишь, то они тебе так загадят коридор, что потом не отмоешь... Да и не будешь же вечно разъездной работой заниматься.

А тут поговаривают, что большая компания «Socobom» («Сокобом») продаёт небольшую кофейную плантацию. Однако приобрести кофейную плантацию и заниматься ею и в то же время служить в «Vicicongo» не было разрешено. А посему нужно выбирать: или осесть на купленной плантации, или же отказаться от такой мысли и продолжать работать фельдшером в «Vicicongo».

Много думал я об этом. Самому было рискованно за такое дело взяться. Но обдумавши всё, решил купить, а тут ещё мой начальник доктор в компанию со мной согласился вступить на равных правах, чему я был очень доволен. Однако впоследствии я досадовал, так как деньги у меня на покупку кофейной плантации были, а страшиться незнания, как вести дело, и роста кофейной плантации опасаться не нужно было, так как всё потом пошло как по маслу.

Так и сделали: купили мы эту плантацию на равных началах, то есть внесли по равной сумме денег за покупку.

Месяцев через шесть я тяжело заболел гематурией, а доктора переместили из Паулиса в Акети, чем отдалили его от его плантации, несмотря на то что он никакого участия в ней не принимал, а всем делом занимался я. Кроме того, я понял, что выручка от плантации, конечно, будет, но после деления пополам не такой, какой бы мне хотелось. И, базируясь на купчей нашего контракта, я предложил доктору выкупить мою половину, но он категорически отказался, так как он не мог быть полным хозяином этой плантации и в то же время служить доктором в «Vicicongo». Тогда я уплатил ему за его половину, прибавив к этому 150.000 от первой продажи кофе, и сделался полноправным хозяином кофейной плантации в Паулисе (Элимба).

А тут в 1941 году война началась. Кофе, который продавался по 3 франка за кило, начал продаваться по 15–20 франков, а потом дошло и до 40. А в резерве оставался кофе, который я не смог продать и сохранил; я продал сразу 150 тонн по 20, что дало мне возможность сразу же купить

машины для обработки кофе на 1.000.000 и всё другое, — и вот так я стал колонистом.

Утром рано шёл с неграми на плантацию. В 10 часов утра бой приносил мне завтрак, а потом обед — в 14 часов, а в 17 шёл домой. Все дни недели проводил на плантации. Приходилось другой раз по 2–3 раза в день ездить на велосипеде, чтобы посмотреть, как люди устраивают питомник, потом — как подстригают кофе, как чистят мотыгами вокруг и по всей кофейной плантации землю, как опрыскивают кофейные деревья от насекомых-вредителей, где рубят вокруг кофейной плантации вековые деревья, которые своими кронами затеняют и заглушают кофейные деревья.

Работа была хотя для меня и интересная, и приятная, как и всякому хозяину своего добра, но будучи в тропическом климате, под палящим солнцем и во влажном воздухе, весь день в ходьбе, к вечеру я приходил домой усталым и измождённым. Однако по принятии горячего душа или ванны (в большом тазу) всё сразу проходило. А вечером было хотя и влажно, но всё-таки прохладно. И сытно поужинавши, я и совсем чувствовал себя хорошо.

Бывало, сяду на раскладной стул, бой принесёт и поставит рядом на стул арахис жареный с солью и варёный в солёной воде. Вот так сидишь, подъедаешь арахис и думаешь, какую бригаду, где и куда поставить на кофейной плантации. Ночь чёрная, непроглядная и впереди, и сзади дома. За рекой Бомоканди обезьяна-ленивец[22], залезая вверх по дереву, орёт во всё горло, раздирая эту тропическую тишину. И в той же реке гиппопотам ухает: ух-ух-ух. За лесом, а может быть и в самом лесу, ужасающе и грозно лев мыкает: му-му-мууу. Да так, что и мурашки по телу бегают. Да, величественна и таинственна тропическая ночь в Африке! А вот так в ней прожил 34 года. Чтобы тосковал по ней — такого нет, а в грёзах вспоминается и видится.

Охота на слонов
(когда я убил подряд трёх слонов)

Раздавши бригадирам-неграм работу на плантации, я взял мой маузер (ружьё) и проводников — моего кухаря-негра Канди, сторожа — и, конечно, пёсиков-охотников. Отошёл от Элимба полтора километра. Идём мы доро-

гой, Канди-кухарь впереди; он увидел слоновую свежепроложенную тропинку, пошёл по ней. Вот она огибает термитник, и, чтобы отдать себе отчёт и увидеть сверху окружающую местность и на ней находящихся животных, забрались мы на него, повалили вокруг нас траву хуму, притихли-притаились после наделанного нами шума ломки и валки травы и стали всматриваться вдаль, так как утром туман застилает всю окрестность.

Вот Канди показывает мне направление рукой и говорит, что он что-то видит. Туда и я смотрю: точно, что-то есть у самой опушки леса и движется, но из-за тумана плохо видно. Стоим, смотрим и ждём.

Вот туман немножко рассеялся и вижу, как будто буйволы, но достаточно далеко. Прицелился и выстрелил. И вот всё это стадо побежало; слышен шум ломающихся веток в лесу, куда они спрятались. Стоим и рассуждаем. «Да, — говорят негры, — это «нзали» (буйволы). Вон они теперь убегают по этой стороне леса». (Буйвол однажды убил рабочего-негра у меня на плантации.) Не успели закончить эту фразу, как заметили: по ветру к нам хоботом вверх прёт слон, сбивая траву хуму.

Увидев это, сторож-негр бросился было наутёк, но я пригрозил ему, что буду стрелять в него, и этим пригвоздил его к месту. В таких случаях на охоте ни в коем случае нельзя поддаваться панике, так как убегающие, как правило, делаются жертвой слона или буйвола. И это ещё не всё. Вся тяжесть падает на тебя, и из-за такого несчастного случая потом никак не отделаешься от правительства.

Так вот, пока я успокоил негра-сторожа, в 20 шагах от меня показалась из травы большая голова слона, что мне легко было видеть, стоя и смотря с высоты муравейника, откуда первым же выстрелом свалил я этого слона, который упал у подножия термитника. Потом я высчитал: упал он в пяти шагах от меня. Второй слон сзади бегущего первого, испугавшись шума винтовочного выстрела, свернул немножко влево, и я влепил ему пулю в левую часть груди и свалил его тоже сразу же на землю. Третий слон, бежавший рядом с ним по правой стороне, получил тоже пулю, но в спину.

Однако слон, который свалился у моих ног, старается подняться. Стреляю то в него, то в другого по очереди с бы-

стротой пулемёта и всё время начеку, так как не знаю, куда делся раненый третий. Слон, подбитый у ног, бьётся на земле. Мой пёсик кусает–грызёт его за ухо, а это уже говорит за то, что слон смертельно ранен. Спускаюсь с термитника с предосторожностью и добиваю его в голову.

Снова поднимаюсь на термитник, осматриваюсь, ищу глазами третьего слона — раненого; второго хорошо вижу: лежит на боку и ворочается. Делать нечего, нужно уходить. И вот пёсик бежит впереди по тропинке. Вдруг залихватски залаял. Я весь в напряжении, кругом трава хума в 3–4 метра вышины, готов к выстрелу. Но сторож–негр уверяет: раз собака гавкает на мясо (по–негритянски всякое убитое или идущее животное называется мясом, или ньяма), значит, ньяма сдохла — акуфи. И, чтобы загладить свою трусость, выскакивает вперёд, раздвигает траву, и точно так: лежит молодая слониха в полторы тонны.

Теперь даю кое–какие объяснения. Первый раз, когда я выстрелил, думая, что это буйвол, пуля попала в детёныша–самку — слониху в полторы тонны. Разъярённые родители, слон и слониха, не зная, откуда к ним пришла беда, пошли вокруг леса и вышли на дувший на них ветер, который и принёс им мой запах, что и дало им возможность меня атаковать. Когда они бежали в атаку на меня (первая — мать–самка, потом самец с дочкой по правой стороне его), ломая траву, топая быстро бегущими ногами и ужасно сопя, можно было подумать, что идёт паровоз, выпуская пары.

Часть мяса от слонов, как и клыки, сдал правительству, а остальную часть мяса раздал моим рабочим–неграм и жителям деревни, хотя и не близко, но всё же находящейся в окрестности моей кофейной плантации.

После ещё не раз приходилось убивать слонов, а другой раз они у самого дома в пяти метрах от веранды гуляли. А помнишь ли ты, Святослав, как слониха с её маленьким слонёнком хоботом тебя приветствовали, когда мы ехали камионом (грузовиком) с нашей рыбалки? А сколько раз нам (мне, твоей матери и тебе) приходилось любоваться, как группа слонов купается на другой стороне реки Бомоканди? А помнишь гиппопотама Жюля, который приплывал на мой голос, когда я его звал?

Охота на горилл
(по рассказам негров)

Местность Кассесе (Kassese) гористая, покрытая густым тропическим лесом, где преимущественно водятся гориллы; там их ловят и оттуда поставляют во все зверинцы мира.

Найдя место, где спят и пасутся гориллы, негры, вооружённые древками-пиками, или по-русски рогатками, потихоньку подходят к этим местам, прячась за деревья. Горилла-самец и другие, услышавши шум, начинают бить себя в грудь и испускать крик. Останавливаясь на ночёвку в деревнях, я иногда с наступлением ночи слышал крик горилл. Это крайне ужасающе, в особенности в мёртвой тишине. Потом обезьяны ломают верхние веточки дикорастущих кустов и, как бы подметая землю, с криками «ух-уа» и «ивг» бросаются на своих врагов, а другой раз — и на неожиданно проходящих негров, что очень редко случается, по их словам. Но все говорят, что очень-очень редко бывает, что горилла-самец убьёт встречную негритянку. Негра — да! — в два счёта! А вот негритянку — нет. И в обратную сторону: самка-горилла встретившуюся негритянку всегда разорвёт на куски.

1944 год. Военное «гуляние»

Будучи эмигрантом, я имел нансеновский паспорт, так как покинувшие Россию потеряли русское гражданство, а выданный паспорт Нансена давал право на въезд и выезд из каждого государства и право на жительство в разрешённом тебе на въезд государстве. Мобилизовать же тебя не имели права.

Но вот ходят слухи, что негры бунтуют, что где-то восстали и бьют белых. Слышу: то одного плантатора, то другого бельгийца мобилизуют. И вот вдруг и я получаю бумажку о гражданской мобилизации. Еду я в Паулис, протестую против беззакония. Где там! Административная публика и служащие смеются и говорят, что прогуляться мне неплохо. Однако я упорно сижу на своей кофейной плантации, работаю.

Но вот в одно утро приезжает в автомобиле администратор и с ним три солдата-негра с привинченными к

винтовкам штыками. Козырнув мне, подаёт бумагу. Пожал я ему руку, пригласил на веранду. — «Пиво или кофе? Виски?» — и начали разговор. Он — мсьё Van Stiehel — мне говорит: «Если вы сразу же не поедете на место назначения, у меня приказ вас арестовать». Ответ: «Согласен. Но кто будет заниматься моей плантацией?» Он: «Об этом не беспокойтесь. Администрация Паулиса берёт всё в свои руки». Я: «Когда я должен ехать?» Он: «Выехать должны в моём присутствии. Вас об этом три раза предупреждали».

Верно. Зная, что граждански мобилизован фельдшером, я практически был уверен в таком исходе и готов к отъезду. А посему сразу же начал грузить мою «Delivery Chevrolet». Я ещё заранее договорился с моим боем, что он согласен поехать со мной. Но когда вещи уложили в машину, вдруг он заявляет, что ехать со мной не хочет, боится войны. Повар ещё раньше высказал своё мнение, что ехать на войну не хочет. Что делать? Все мои рабочие были в сборе, ждали моего отъезда. Я выстроил их всех; спросил, есть ли желающий ехать со мной, и из 150-ти вышел один не ахти какой «ударный» рабочий. Однако делать нечего, пришлось его взять; он холостой и ничем ни с кем не связан.

Ввиду того что моя машина была перегружена, администратор был очень любезен: послал свою машину с новоиспечённым боем за его пожитками. Я же тем временем всё записал, давая распоряжения обо всём на плантации, а также чтобы крепко смотрели за собакой и кошкой. Администратор объявил рабочим, что теперь администрация территории будет заниматься и проверять работы на плантации, а также выплачивать жалование им (конечно, моими деньгами).

Оставил я шефа-капитана Ненза (capitaine-chef Nenza), моего кухаря Канди и сторожа Кубинду и, попрощавшись со всеми, поехал со своим новоиспечённым боем. Администратор предоставил мне временно, как он мне сказал, вооружённого негра-солдата.

Первую часть дороги вплоть до Стенливиля я знал. Но вот моего нового боя нужно было одеть, поскольку он, как и все негры, имел только набедренный пояс. Так что в первом населённом пункте остановились и зашли в греческую лавочку. Купил я ему капитуля (брюки из шерстяных очёсов) и

трико. В трико он залез быстро, а вот в капитуля никак не мог забраться, так как никогда ещё его не приходилось носить. Все окружающие негры и негритянки звонко покатывались со смеху над его некультурностью — не знать, как надевать штаны! Но наконец-то с помощью хозяина лавочки — грека, меня и всех присутствовавших в магазинчике-бутике напялили мы на него штаны и поехали.

Из Стенливиля меня послали в Касессе. Дорога была монотонная: лес, прогалины. А когда ехали по реке пароходом, то видели всплывшего негра-утопленника с полуподнятой рукой; удивительно, как это его ещё раньше крокодилы не слопали. Потом снова автомобильной дорогой до Касессе, на которой видели обезьяну шимпанзе в человеческий рост, пересекавшую перед нами дорогу.

Вот и Касессе. Приезжаю к начальнику — инженеру-строителю военных дорог. Его нет. Жду. Наконец приезжает с неграми-солдатами. Удивляется, что я доехал сам, без солдат, так как кругом негры бунтуют, нападают ночью на жилища белых и так далее.

Бунтовали местные жители-негры. Один из них уверял, что нужно спать в отдельных кроватях с жёнами и тогда негры будут такими же, как и белые. Понимай как хочешь, то есть будут много мяса есть, не работать и командовать, иметь много жён по их обычаю и что для этого нужно перебить белых. Перебить белых они не решались, так как проведённые в прошлом военными операции по завоеванию этого участка Бельгийского Конго они, негры, хорошо помнят, боятся, а посему шефу этой деревни, фетишёру-кудеснику пришлось принять религию китавала[23]. Те, которые посвящались добровольно, но не исполняли приказаний, умерщвлялись беспощадно. Вот почему раньше, чем бить белых, было немало перебито ими же своих негров. У белых же громилось и растаскивалось всё их имущество.

Здесь, в Касессе, разрабатывались шахты вольфрама, и в период войны этот металл крайне был нужен для победы и нам, и союзникам. А сектанты китавала нападали на шахты. Старший шахты спасался бегством; шахта оставалась без руководителя; производство металла приостанавливалось; рабочие разбегались. Колоссальные убытки компании и полная местная разруха.

Белые сплошь и рядом были заблаговременно предупреждены о нападении своими боями, спасаясь в лесу и выходя по тропинкам с боем к следующим минным шахтам, где всегда был старшим белый, а там поскорее на машину — и в административный центр, где есть администрация из белых, власть, солдаты, полиция и так далее.

Приехав на место, я нашёл фельдшера, который передал мне эту зону, а его самого перевели в более спокойную. Доктор, наш начальник, жил в Шампути (Champouti). Он прибыл спустя неделю, чтобы дать мне указания по работе: сопровождать две сотни солдат-негров, возглавляемых двумя белыми — адъютантом (прапорщиком) m-r Beusing и m-r Paquel (по профессии агроном).

Приготовили мне ти-пой, дали 10 носильщиков, так как я весил 75 кг плюс пища, скажем кофе, консервы, и револьвер в кармане, заряжённая винтовка у ног.

Утром рано вышли меня провожать все сбежавшиеся белые с их жёнами и детьми во главе с администратором. Они построились в две линии, между которыми я проехал, сидя в ти-пое, при глубоком молчании и с тревогой в глазах. Все они знали, что пройду я до войск по лесу, по тропинке, никем не защищаемый, где напасть на меня очень легко и перебить всех, несмотря на то что шесть солдат-негров сопровождают меня. Об этой опасности мне никто ничего не говорил, но все об этом знали: ну если и убьют — так это же русский; это неважно.

Чувство жалости выказывалось в глазах у дам и немного у мужчин. Но когда я проехал между их линиями, то посыпались крики «Счастливого пути!» и тому подобные.

Ехал я хорошо. Там, где тропинка была широкая, по бокам шло по солдату-негру, готовые стрелять в первый же момент, заметив засаду. Другие шли впереди и сзади, смотря за носильщиками моего багажа, медикаментов и прочего. Мой же бой шёл всегда рядом со мной, держась за ти-пой, не знаю — или из-за боязни, или показать себя перед другими неграми, какая он шишка, что он есть бой мунганги (по-негритянски — знахаря). Другой раз при поворотах его плечо двигало ти-пой, что делало неприятный толчок и мне, и меня несущим. Кто ездил таким способом передвижения, тот знает, как неприятны эти толчки. Но я ему никаких замечаний не делал, так как ок-

ружающие меня негры были все незнакомые, хотя и верные белым, тем более солдаты. А мой бой — это проверенный человек, мой рабочий, который работал вот уже четыре года на моей кофейной плантации в Элимба. Верно: не ахти какой работник, часто недоделывал чистку кофейных деревьев, но всегда он был тихий, добрый и безобидный, а поэтому теперь я его считал своим человеком. Да и приятно мне было, что он идёт со мной рядом, хотя и не для моей защиты, так как он не был вооружён, — ну хотя бы и для его защиты возле меня, на что он имел полное право. И время от времени мы калякали на бангала (негритянском языке).

Пришли в деревню из восьми хижин, которые разорены, хотя и разорять-то в них нечего. Жителей — никого, разбежались; несколько негров этой деревни взято солдатами для наказания и уведено, по рассказам сопровождавших меня солдат.

Мой бой, теперь уже наловчившийся раскладывать мою складную кровать, а также стол и стул, зажёг маленький ночничок, за ночь которого выгорает 3–4 столовых ложки керосина. Негры табором разложились вокруг разведённого огня, солдаты же — у дверей моей хижины и тоже у огня. Собственно, дверей не было, их, видимо, сожгли прошедшие первыми войска или хозяева снесли в лес, чтобы там на них спать. Поужинавши, завалился спать. Бой, тоже поевши с солдатами, с ними же рядом, поблизости у дверей хижины, умостился на ночь.

Ночь прошла спокойно. Утром рано подъём. Всё походное — кровать, стол, стул, кухня — всё положилось в железные чемоданы и привязалось к длинной палке, за которую берётся один носильщик впереди, а другой — сзади, и пошли.

Какая-то непонятная вонь стоит в проходимом лесу. Вот встречаются негры, несущие негра же в одеяле. Чем дальше, тем вонь усиливается и ясно чувствуется дохлятина. Ну, думаю, убили или подохло какое-то животное и теперь преет. Так нет, вдруг попёрло трупным человеческим запахом, слащавым и зловещим. Все негры начинают затыкать травой нос: вонь невыносимая. Я спрашиваю солдата, в чём дело и откуда эта вонь. Он объясняет мне, что это убитые китавала (так их называли) и что вот они

тут же рядом в тростнике и похоронены, то есть в еле-еле выкопанном углублении с наброшенным сверху разным растительным мусором. И так чуть ли не каждые 100 метров — просто задохнуться можно, в особенности в лесу, где воздух без движения.

Вечереет. Заходим в приличную деревню. Жители есть. Отвели мне солдаты очень хорошую пустую хижину. Вижу входящую с противоположного конца деревни группу негритянок, сопровождаемых солдатом. Спрашиваю, кто такие. Говорит, что это жёны китавала и что их оставят здесь до завтрашнего дня. Многие из негритянок с грудными или годовалыми детьми; их человек тридцать.

Мой бой теперь сам всё хорошо разложил. Я, развалившись на раскладном стуле, читаю, но не так-то долго: комары и фуру-фуру (маленькие и очень кусачие мушки) загоняют меня в хижину. Конечно, и при ночничке, поставив его себе под нос, читать можно, но это очень утомительно.

Приходит солдат и предлагает, не желаю ли я маканго (macango) из арестованных женщин, чтобы «подметать» хижину. Понимаю, в чём дело, благодарю и отказываюсь. Обыкновенно такого охотника до развлечений, мало уплатившего солдату или ей, или просто по каким-либо другим причинам (скажем, солдат провинился и ты его должен наказать за непослушание), солдат же и выдаёт или делает так, что судья гонит тебя под суд, строго карая, чтобы показать этим соблюдение закона и правосудие, покрывая чинимые разгром и ужасы, творимые с неграми. Конечно, солдатам лафа — как сыры в коровьем масле.

Утром снова в поход. Тропинка расширена, стоят знаки-номера на вбитых колышках. Это, как и вся пройденная тропинка, будущая автомобильная дорога.

Снова лес, снова вонь от убитых негров. Дорога прочищается. Носильщики ти-поя запели, и все другие носильщики и солдаты подхватили, вернее подпели, так как они разных рас и языка. Поют — значит, деревня не должна быть далеко. А запели, когда шли по склону с вершины горы; значит, деревня где-то внизу. Деревня-то оказалась верно внизу, но шли мы до неё долго.

С песнями вошли. Встречают двое белых военных. Посредине деревни две открытые палатки, где видна поход-

ная мебель, как и у меня, только железных чемоданов положено много. Ну конечно, аперитив, разговоры. Говорят, что кругом очень опасно, восстание, но что они всё скоро это успокоят.

Сидел в палатке, разговаривая с ними. И когда гомон моих людей стих, ясно услышал какие-то стоны; они тоже. Они переглянулись между собой и сказали: «Начинается!» Прапорщик говорит другому: «Да, я сержанту сказал, чтобы в два часа начал». Тот ему отвечает: «Пошли!» И мне говорят: «Пойдёмте, мы вас познакомим со здешним настроением».

И больше всего меня удивило в этом кошмарном зрелище, что всё это начало происходить сразу же за палатками, где солдаты, сидящие на головах-шеях и ногах четверых лежавших крепких и рослых негров, лупили их шикотами (плетями) по спине и по заднице. Избиваемые же хрипели, ворочались, извивались от невероятной боли. Видя такое зрелище, с рассечённой спиной и задницей человека, с летящими шмотками тела, мне хотелось крикнуть, остановить это варварское избиение. Но в это время адъютант спрашивает сержанта-негра, сколько осталось. Тот ему в ответ: «Ещё десять». Ну, говорит, кончай, а потом всех остальных, как и раньше, будешь лупить перед палаткой.

За это время страдавшие получили оставшиеся по десять ударов, и только один из них смог подняться. Остальных оттащили за ноги в сторону, чтобы вторую — или не знаю, какую по номеру, — группу негров избить. Били людей этой же деревни, куда вошли 200 человек военных, а посему жёны избиваемых мужей были специально оставлены, чтобы и впредь боялись, не шли на восстания и подчинялись властям.

После такой смертельной порки жёны или родственники забирали избитого негра, и те, которые получали по 100 фуэт*, или же умирали на месте, или же умирали дорогой к дому. Тем же, которые получали по 50 ударов, давали ещё в наказание тащить доски из деревни в деревню. Много таких людей я видел после купающимися в прохладной речной воде и этим утоляющими боль. Военные утверждали,

* Fouettes (франц.) — удары.

что такой способ лечения испытанный и что на самом деле это быстро вылечивает от перенесённых побоев.

Мы вернулись снова к прапорщику в палатку. Теперь уже группами по 10 человек начали пороть негров. Тошнило при виде всего этого. Спросил, где я могу поселиться. Указали хижину. Вечером пригласили ужинать; отказался. Противно мне было смотреть на этих палачей.

Сказали, что на какой-то шахте, впереди нас находящейся, идёт между рабочими брожение. Дорога к моему месту службы шла через эту деревню. Адъютант уверяет, что я не могу ехать без его сопровождения. Рано утром я всё же уехал без его сопровождения. Доехал благополучно. Этой шахтой заведовал один поляк из армии Андерса[24], демобилизованный по инвалидности.

В 10 часов прикатил со своими солдатами адъютант. Сразу на меня накинулся, что я рисковал и что он за меня ответственный, что было неправдой, так как я находился в подчинении прокурора, куда и накатал рапорт обо всём виденном. На этой шахте у него мало было жертв.

Впереди по дороге между двумя солдатами шёл китавала. Вдруг впереди идущий солдат выстрелил в сзади идущего солдата и ранил его в ногу. Китавала схватил у раненого винтовку, и они с солдатом скрылись. Переполох большой; не шли, а еле передвигались. Перевязанного мною солдата-негра уложили в мой ти-пой. Я шёл пешком.

Устроили мне госпиталь в деревне, откуда продолжалась постройка автомобильной дороги. Несомненно, битые китавала пришли лечиться ко мне, и я их по их состоянию здоровья положил в госпиталь, что и нормально. Моя служба — это лечить, а кто бы больной ни был — меня это не касается.

Появляются солдат шесть с запиской от адъютанта, что китавала, которые лежат у меня в госпитале, по ошибке получили от него по 50 плетей вместо 100, и поэтому ему нужно сдать этих людей присланным солдатам. Я ему ответил, что, во-первых, вплоть до выздоровления я их ему выдать не могу, а во-вторых, после выздоровления по приказу медицинского инспектора провинции всех без исключения выздоровевших в моём госпитале больных я должен отправлять к старшему врачу в Шампути. Написал я это с

копией, кому надо, и вручил оригинал адъютанту через солдата, думая, что на этом всё и закончится.

На другой день утром прихожу в больницу. Инфирмьер–негр (санитар) с испуганным лицом заявляет, что пришли ночью солдаты и забрали всех китавала. Несчастные все погибли, но мой рапорт на этот произвол или на первый, видимо, подействовал: этот адъютант больше ничего подобного не делал и сказал, что не может бить теперь негров до тех пор, пока не получит от меня утверждение, что негр сердцем крепок. Такой записки я ему никогда не давал, ссылаясь на мою некомпетентность.

Для предстоящего осмотра доктора я сводил негров в построенный большой магазин для провизии, который впоследствии и стал их тюрьмой.

Были случаи, что когда адъютант приходил на шахту, то ему белые жаловались на плохих негров. Хотя они были и не китавала, он их сразу приобщал к китавала и запарывал до смерти, о чём я при встрече с прокурором (средних лет прыщавым бельгийцем), купавшимся и одевавшимся со мной у одной реки, всё рассказал, как, где и у кого было.

Бесчинства этого солдафона были мне нестерпимы. Да и что же это за служба: ходи, лечи здоровых, будь всё время в глупой опасности, тем более, всюду настало полное спокойствие. А тут я получил плохие новости с моей плантации.

Прислал письмо администратор, что у меня на плантации рабочие убили одного рабочего и жену другого рабочего. Подробностей не описывал, но написал, что капитан–шеф Ненза и повар Канди (я его оставил хранителем дома) арестованы, сидят в тюрьме в Паулисе, ожидая суда.

Тогда я дал губернатору в Леопольдвиле каблограмму (телеграмму, переданную по кабелю), прося его освободить меня от занимаемой должности фельдшера, объясняя ему причину. Ответ: «Сидите там, где вы есть». Тогда я ему — снова каблограмму, что предпочитаю и прошусь на европейский фронт бельгийской армии, но здесь быть не хочу.

Он мне вновь в ответе: «Подтверждено задержание предыдущей телеграммы». И с этим — копия первой телеграммы. Но за это время я слышал, что все гражданско–мобилизованные уходили, если официально предупреждали командование.

Поговоривши и проверивши, я убедился, что это так, дал снова третью каблограмму губернатору, что беру ответственность на себя, но служить на такой войне в Касессе не хочу и еду домой в Паулис — Элимба, смотал удочки и покатил, немножко смущённо, но весело.

Проездом через Касессе я видел негра — главаря китавала, которого везли на суд в Стенливиль. Человек средних лет, ничем не отличающийся от всех других, среднего роста, невзрачный, дикого вида.

Обратная дорога была спокойная. Приехавши в Стенливиль, сдал отчёт. Никто мне ничего плохого не сказал, и только один из административной публики сказал, что я молодец: «Браво, не поддался никакому влиянию, смелые рапорты писал, и жалко, что уезжаешь». Уплатили мне причитающиеся деньги, и теперь я поехал домой.

Не доезжая до Элимба, по дороге остановился на станции Гао (Gao), у моего соседа m-r Dierax, который был маркитантом (cantiniere). Тот был удивлён меня увидеть и сказал, что ходили слухи, будто я убит китавала или в этом духе, что я больше не вернусь и что по приезде в Элимба меня ждёт сюрприз. Какой — он не сказал, но смеялся, говоря: «Увидите».

Настаивать не стал, раз не хочет говорить, но вызванное этим любопытство было большое и увеличило и без того огромное желание скорей доехать до дома.

До Элимба было 25 км. Распрощавшись, поехал. Гнал, вернее, старался гнать машину как можно скорее, но ночью едешь всегда медленнее. А тут дождик начался, и на одном повороте чуть было не наскочил на двух слонов. Один сразу повернул в лес. Первый же, который бежал впереди меня и которому я почти врезался в зад, но вовремя затормозил, поскорее потушил свет и, обождавши немного, снова засветил, — он бежал впереди. Я снова потушил свет, и, когда снова зажёг, его уже не было.

Подъезжаю в Элимба к дому. Дождь льёт тропический. Вижу: в моём доме в столовой свет и люди. Ввиду большого ливня, грома и молнии мой подъезд вплотную к дому никем не был замечен. Но всё же свет машины в упор в двери и окна заставил жильцов выйти на веранду.

Я выскакиваю из машины и скорее бегу к себе на веранду, спасаясь от дождя, который хлещет как из ведра. Представ-

ляюсь: Любовин. Вышедший навстречу говорит свою фамилию — Facque, приглашает в столовую, где знакомит меня со своей женой и дочкой лет десяти, приглашает ужинать.

За разговором ещё раз спрашивает мою фамилию. Я ему говорю.

Он: «Мне ваша фамилия знакома».

Я: «Да, она написана на доске при въезде сюда, на мою плантацию».

Он: «Ах! Теперь вспоминаю, да! Верно! Но доску сбили камионами, и вот поэтому я вашу фамилию забыл».

Расположился он в моём доме как у себя. Спрашиваю, не могу ли я получить комнату. Он неохотно отводит мне мой салон, забитый разными ящиками. При разговоре он мне рассказал, что он помощник строительных работ бетонного моста в Элимба, что бельгийское правительство поселило его сюда, что сказали, что я убит; что он очень жалеет, но из моего дома никуда не пойдёт без приказа высших его начальников. Я ничего не отвечаю. Позволяю человеку высказаться. Переселение в бамбуковый домик для приезжих его не устраивало. И я его понимал: ветер, дождь с потолка, то есть с крыши, так как потолка не существует. Да и удобств никаких не было.

Потом я узнал, что он очень хороший человек, но набитый всяким вздором про иностранцев. А тем более, бельгийцы большие ксенофобы, в чём я давно убедился. А посему я, уверенный в своих правах, ничего не отвечая, оставил всё дело до завтра.

Разложил мой бой походную кровать, поскольку мою домашнюю кровать нужно было разгрузить от мешков с арахисовыми земляными орехами в мундирах — безобразие! Я уснул от усталости и удовольствия быть дома. У себя дома! Ну а насчёт незваных жильцов я, уверенный в своих правах, знал, что управлюсь с ними.

Утром просмотрел всё моё имение: солнечный чайник* разбит, гараж забит досками, металлическими и деревянными стройматериалами, термиты забрались всюду и всё подточено, во дворе шесть камионов, дорога разбита, с большими ухабами, а в доме тоже термиты хозяйничают, хотя его жена здесь лучше смотрит.

* sechoir a cafe.

Прошёлся по плантации. Всюду мои рабочие по плантации накопали ям-западней для антилоп, диких свиней и так далее. Плантация заросла бурьяном. Верно, администрация аккуратно платила моим рабочим моими деньгами, но никто ничего не делал и никто ни за чем не смотрел, а наоборот — брали моих рабочих на всякие работы и платили им солью или рисом, для рабочих моих это было очень выгодно, ведь на руки двойная плата и гуляй — ничего не делай. Потом узнал от m-r Facque: ему сказали, что когда подтвердится моя гибель, то бельгийское правительство продаст мою кофейную плантацию и на вырученные деньги будет покрывать бельгийское добро, национализированное коммунистами в России. Теперь мне понятно, почему меня погнали к китавала: надеялись, что в восстании я погибну, а восстание-то оказалось неповсеместное.

В общем, я ему предложил очистить мою спальню, салон, уборную, где стояло ящиков 10 с пивом и другими напитками, и занять ему остальные две комнаты; веранда и столовая будут нашими общими вплоть до его отъезда. Он было захорохорился, но я его предупредил: понимаю, что он подчиняется своим старшим и что они мне люди неизвестные, но я у себя дома, а посему никому не подчиняюсь, а наоборот, все в моём доме подчиняются мне.

Смотался он в Паулис, на другой день получил телеграмму немедленно перебраться в Гао, в дом приезжих, чему он был крайне удивлён, что так быстро выставляют его из моего дома, но ведь не я же давал разрешение вваливаться в мой дом.

Дня через три-четыре приезжает старший инженер провинции, знакомимся, m-r Facque ещё у меня. В присутствии инженера он было похрабрел, начал возмущаться притеснениями, которые я ему сделал и делаю. Мне ничего другого не оставалось, как подтвердить уже моё возмущение произволом и издевательством бельгийского правительства и причинёнными мне убытками и разорением.

Инженеру было крайне неловко, он извинился за недоразумение, приказал m-r Facque разорённое исправить, постараться освободить мой дом завтра же и всё такое.

Скажу откровенно: всё было починено и исправлено очень хорошо, уплачено за раздавленные кофейные де-

ревья и оставлено в натуре: цемент, гвозди, доски и так далее — на покрытие того, что могли забыть сделать. Это была большая любезность. Потом мы были в самых прекрасных отношениях. Мне было приятно ездить к ним в Гао, а позже они поселились поблизости от меня, на другой стороне реки Бомоканди, в деревне Сонголия. Были у них в гостях в Стенливиле, где m-r Facque и умер от тоски по своему умершему единственному сыночку десяти лет. Да будет ему конголезская земля пухом.

История о том, за что мой капитан-шеф Ненза и кухарь Канди попали в тюрьму

У одного рабочего от грудной болезни умерла сестра. Муж этой умершей, по негритянскому обычаю, обвинил знакомую сестры, что она напустила заговор на его жену, отчего та и умерла, так как по негритянским понятиям никто без причины не умирал.

Чтобы решить этот вопрос, позвали знахаря, который принёс белого петуха, долго его заговаривал, плевал на него, танцевал вокруг него, дёргал, щипал — в общем, заклинал и, наконец, отрубил ему голову. Голова отскочила и полетела в сторону. Посмотрели, кто живёт на линии по направлению от убитого петуха к его отрубленной голове. Оказалось, как раз та негритянка, которую муж умершей обвинял в смертельном чародействе против своей жены. Как добился знахарь, чтобы отрубленная голова летела по направлению заранее обвинённой в чародействе, это дело ловкости его рук.

Но по несчастью, с этой негритянкой жил один мой рабочий-негр. Их моментально схватили и давай судить. И решили облить их горячей водой. Судила их вся родня умершей, и заводилой был мой кухарь Канди, так как умершая приходилась ему дальней-дальней родственницей.

Когда приговорили их к такому наказанию, то спросили моего капитана-шефа, могут ли они привести приговор в исполнение, на что Ненза ответил, что это не его дело и пусть делают, что хотят. Скажи он обратное, он рисковал бы быть обвинённом в знахарстве и получить ту же кару, что и обречённые.

В общем, вечерком связали негритянку и моего негра-рабочего в присутствии кухаря и с его участием и,

вскипятив в больших глиняных горшках воду, поливали обречённых из пустой коробки от консервов. После страшных мучений рабочий умер утром, а женщина — через два дня. Вот вам негритянские обычаи и нравы.

Допросы тянулись 20 дней. Никто ничего не делал. Я был в Касессе, а здесь театральные разбирательства. Плантация моя зарастала травой, глохла, а мне нужно было оплачивать праздную публику — моих рабочих.

Капитан-шеф Ненза был приговорён к 10 годам тюрьмы, а мой кухарь Канди — к 15 годам. Потом с разными льготами и помилованиями они освободились и снова у меня работали. Негры, вышедшие из тюрьмы, посаженные за убийство или воровство, считались героями.

Рыбалка

Устроил я рыбную ловлю на реке Бомоканди, омывающей мою плантацию. Река порожистая, с сильным течением, по берегам стоит лес, приносящий резиновый сок, откуда и её имя. Так вот, взял я мою пирогу, моего рыбалку Кекели и поехали мы собирать рыбу. Сидишь себе и смотришь, пока тебе быстрым течением не сбросит с порога рыбу.

Отъехали мы приблизительно километра полтора от Элимба, причалили. Кекели загнал пирогу между ветками деревьев, так что тут тебе никакое течение её не сорвёт и не унесёт. Потом спустились по тропинкам, набитым гиппопотамами, где их не меньше двух десятков, до построенных рыбных западней. Их пять. В одной ничего не было: кто-то успел всё забрать. В другой было недостаточно, поэтому я задержался, пока не нападало побольше рыбы, так как это была самая большая западня, куда вода стремительно сбрасывалась с захватываемой ею рыбой.

Вверху по течению реки, где-то далеко, бушевала гроза. Река от избытка наступавшей воды пухла, делалась вздутой, грозной и опасной. Решили уходить. Забрали рыбу и погрузились. Кекели взял шест и, опираясь на дно реки у берега, начал подниматься вверх по реке к Элимба.

Вдруг шест лопнул, течением сразу же завернуло нос пироги и понесло на середину реки. Он старался выправить пирогу, усиленно гребя остатком шеста. После получасового усилия мы прибились к противоположному берегу в 150 метрах от самого последнего и страшного порога.

Как он, так и я уцепились за колючие листья водяных кактусов, тонкие и длинные, усыпанные по бокам настоящими маленькими крючочками, которые впивались в ладони; другие, шелестя по рукам от двигающего пирогу течения, рвали кожу рук.

Уцепился я крепко, несмотря на острую боль. Но вот лист лопнул у корня, я чуть не вывалился из пироги в реку и крепко стукнулся левыми рёбрами. Из-за течения и тяжести пироги нам, двум мужчинам, трудно было приостановить её и загнать носом в ветки обросшего лесом берега. Думал, что конец нам. Но мы как-то сразу и одновременно схватились за быстро мчащиеся мимо ветки и листья лиан, откуда посыпались маленькие лесные чёрные муравьи, которые при укусе выпускают муравьиную кислоту, отчего тебя тошнит, тянет к рвоте и обмороку. Не говорю уже о том, что нас кусали и красные осыпавшиеся муравьи и снова впивались и раздирали ладони крючочки лиан.

Рыбалка-негр успел загнать нос пироги в лес. Теперь ветки леса шелестели у меня по голове, так как я пригнулся, упав на колени, и всякие насекомые сыпались дождём мне по шее и за шею. Все эти букашки-таракашки беспощадно кусали меня, но я был уже тем доволен, что мы в безопасности.

Вода разлилась до этого места и затопила все низменные окрестности берегов. Места эти хорошо были знакомы Кекели, но вся беда была в том, что ночь настала быстро, а тем более в лесу. Вначале мы протискивали пирогу от дерева к дереву поломанным шестом. А когда совсем стемнело, то наткнулись на землю, думая, что это берег. Подняли на берег пирогу, а сами пошли. Не прошли и ста шагов, как появилась вода: сначала по щиколотку, потом по колено.

Я спрашиваю Кекели, где берег. Отвечает: «Перейдём этот брод, и будет берег». Вода по пояс. Вижу, что Кекели сбился. Прислушиваемся, нет ли какого крика, голоса, лая собаки и чего подобного, чтобы по нему ориентироваться. Темнота ужасная. Я уже держусь за ремешок-пояс Кекели, если оторвусь — можно потеряться. А если снова соединиться — то только лишь по голосу.

Сквозь ветки высоких толстых тропических деревьев изредка просвечивает какая-нибудь звёздочка. Идём по

пояс в воде, боясь нарваться на слонов или на гиппопотамов. Успокаивает то, что они в таких случаях трусы и не нападают. Но кто их знает, иной раз и нападают.

Наконец попали на островок твёрдой земли с тремя деревьями, ветки которых можно схватить, подпрыгнувши. Всё скользит, всё мокрое. Кекели подпрыгнул, я ему помог подняться на ветку. Он отгрыз лиану, довольно длинную. С помощью этой лианы мы забрались на дерево и между ветками начали себе мастерить что–то вроде сиденья. Чтобы не упасть, начинаю тоже зубами рвать лиану. Всё во рту стянуло соком лианы, вкус горький, отплёвываюсь. И Кекели, и я — некурящие, поэтому спичек не имеем. Да и что ими делать — ведь всё равно кругом вода, сырость. Бояться теперь, что крокодил тебя может схватить ночью за ногу, не приходится: сидим на дереве. А вот удав может напасть, он храбрее крокодила и у тебя же под носом задушит кого–то, если не тебя самого. (У нас в Элимба змея–удав душила овец и однажды задушила козу). А поэтому мы кричали, что есть духу по очереди и до самого утра, сидя на дереве, на котором решили ночевать. А пока что я зубами вынимал там, где мог, крючочки кактусов.

Стало светать. Кекели сразу сообразил, где мы. Слезли с дерева. Всё тело ныло от неудобного положения. Но чтобы достичь берега, снова пришлось переплывать: затопленные овраги и маленькие речонки, разлившиеся от полой воды, слились. Через час мы вышли на край моей плантации. Капитан–шеф и кухарь Канди сказали, что послали за мной ти–пой, но совершенно в обратную сторону.

Искупавшись в горячей воде, в ванне, натёршись крепким одеколоном, я сладко завалился спать в чистые простыни, вспоминая моё происшествие и сырую дрожь тела во время сидения на дереве.

Только я заснул, как услышал клаксон. Скорей халат на себя — и во двор. Вижу — два администратора, во всём белом, по–колониальному. Один из них, комиссар района, увидев меня в халате, побритым, выхоленным, наодеколоненным (да тем более, было уже 10 часов утра) не вытерпел и сказал: «Хорошо колонам живётся». Ах, если бы он знал, как «хорошо» живётся!

1949 год. Рождение моего сына

В Африке обыкновенно, ввиду тропического климата, все европейские женщины родят на две недели раньше, нежели в Европе. Это я упустил из виду, потому что имел большие чувства к твоей маме и волновался в ожидании тебя.

8 января 1949 года, в преддверии тихой тропической ночи сухого сезона, я читал книгу из библиотеки Стенливиля. Было около 10 часов вечера. Вдруг твоей маме, Ирине Эдмундовне, урождённой Крювиалис, дочери капитана Польской армии, занемоглось. Рассчитывая на европейское время родов, я подумал, что это приступ роженицы, но всё же приготовил «Delivery Chevrolet», дал приказ бою и кухарю. В машину положили матрац, простыни, одеяло и всё нужное. Вот, думаю, всё хорошо идёт, так что привезу спокойно твою маму в госпиталь Паулиса, где она через две недели и разрешится. Наша кофейная плантация находилась в 125 км от Паулиса, близ дороги Паулис — Элимба — Уэле. Да не тут-то было: боли роженицы твоей дорогой мамаши усилились, и я начал крайне тревожиться.

В 2 часа ночи, то есть уже 9 января 1949 года, твоя дорогая мамаша так начала мучиться, что я решил ехать. Твоей маме всё хуже и хуже, а ехать было невозможно, так как, когда я хотел вывести машину из гаража, лампы, как нарочно, отказались служить. Скорее всего, перегорели предохранители, так как лампочки фар тоже неожиданно попортились. Провозился я с ними с полчаса — ничего не вышло. Ничего не оставалось как ждать рассвета. А на дворе предутренний туман такой густоты, что хоть ножом режь.

Будучи сам классным фельдшером-акушером и с солидной практикой, так как в своё время, служа в Африке, принял немало детей от рожениц-негритянок (около двухсот), я был уверен в благополучном исходе родов.

Жду рассвета в возбуждённом и до предела нервном состоянии, ведь твоей мамаше 33 года. Отдаю отчёт полностью в том, что нужно быть в госпитале в Паулисе как можно скорее. Но туман! Куда двинешься? Ждать рассвета надо, а твоя мамаша в ужасных муках роженицы.

4 часа утра. Наконец немного просветлело. Сквозь белую молочную мглу я мог кое-как вести машину. Но ввиду густого, тяжёлого, волнообразного тучевого тумана, оседавшего на передние стёкла, несмотря на механическое прочищение, ехать быстро не было возможности, так как не было никакой видимости впереди. С боем Канди и шофёром-негром (забыл его фамилию) уложили мягко в «Delivery Chevrolet» твою мамашу и покатили.

Ехали медленно. Кругом не туман — густой кисель. Хотя и рассвет, но видимость никакая. Боюсь сжечь мотор, но ехать надо: мамаша в больших муках. Считаю не только километры, но и все дорожные приметы, что я проехал, — казы-хижины негров, термитники, густые лесные насаждения, отрезки железной дороги Vicicongo[21].

Я вёл машину, шофёр-негр сидел рядом, а твоя мама лежала сзади. Хотя и удобно, и на ватном тюфяке, но боли роженицы мучили её, она крепко страдала и громко охала. Я катил и катил, стараясь как можно скорее приехать в больницу города Паулиса.

Подъезжаем к Пенге (дотуда, думаю, оставалось ещё 3–4 км). Но вот громкий крик и просьба скорее прийти. Остановил машину. Шофёр-негр по моему распоряжению удалился в сторону и за машину. Открываю двери машины, а мамаша говорит: «Он здесь». Миленькая моя! Откуда она знала, что ты мальчик-казачонок?! Беру тебя в руки, вижу, что пуповина обвита два раза вокруг твоей шеи, ты весь синеватый. Пальцами оттягиваю пуповину впереди, чтобы дать тебе возможность дышать, вдохнуть первый воздух Африки. Нервно другой, левой, рукой ищу приготовленные ножницы, но никак не могу найти, хотя и хорошо знал, что они в маленьком чемоданчике, где ничего другого не было, а только вещи, необходимые для рождения; так я волновался, сыночек. Наконец, нашёл, разрезал пуповину, и от глубокого, приятного и свободного вздоха ты, мой милый сыночек Святославочка, такой густой невинной писунькой обдал меня и мои руки, да так, что моё отцовское сердце наполнилось казачьей радостью.

Взял я тебя в мои руки и крестил по-казачьему православному обычаю большим пальцем правой руки: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа крещаю сына моего православной верой и нарекаю его Святославом. Аминь».

Совершивши крещение, не спеша передал тебя счастливой мамаше, которая тебя матерински приголубила, прижала под её материнское крылышко, ещё мучаясь мукой роженицы, но будучи бесконечно счастливой тебя иметь.

Вдруг в тумане послышались сильные вопли: это семья слонов в двадцати метрах сквозь редеющий туман спокойно проходила по окраине леса, идущего поперечно автомобильной дороге, по правой стороне в направлении Паулиса. Зная их повадки, я всё же из предосторожности зашёл на другую сторону машины, а шофёр-негр тоже подошёл ко мне. Хлопнувшая автомобильная дверца и испускаемый машиной перегар бензина и масла побудили слонов отойти подальше и продолжить свой путь.

Итак, родился ты в 4 часа утра в 150 метрах от линии железной дороги близ Пенге. Мама твоя держала тебя на руках, чем я любовался, сидя за рулём автомобиля, гордый до невозможности быть папашей, отцом моего славного сыночка Святославочки. Ты же успокаивал нас твоим беспрерывным младенческим пением: «И-и-и-и...» Как это было приятно слышать!

Оставшиеся 45 км дороги доехали благополучно, хотя и не так быстро из-за тянувшегося тумана. Шофёр-негр ехал с широкой улыбкой на лице, очень довольный, что ему первый раз, а может быть, и последний довелось быть свидетелем рождения маленького белого да ещё в таких обстоятельствах: в автомобиле, на дороге, в 45 километрах от большого, населённого белыми пункта, где находится больница, доктор и так далее. По приезде в Паулис положили маму твою в больницу.

Сестра милосердия была рада мамашу и тебя принять и даже горда, так как мы с ней были бывшими сослуживцами госпиталя компании «Vicicongo» в Акети в 1930 году. Видеть тебя, Святославочка, всем моим знакомым очень хотелось. Мама твоя была очень горда этим.

Теперь нужно было оформить день твоего рождения. На это врач выдал удостоверение, где указал день, в который он писал, а писал он два дня спустя после твоего прибытия в больницу. А когда я увидел ошибку, исправлять число было поздно: это требовало больших ходатайств перед ми-

нистерством, чего я не захотел делать. Вот так во всех официальных бумагах и осталось, что ты родился 11 января 1949 года, вместо 9 января.

Вернувшись после родов, твоя мама была горячо принята всеми негритянскими жёнами наших рабочих, а их было немало. Шеф-нотабль (шеф племени) Мвани дал тебе слоновый зуб с дыркой, чтобы трубить. Я тебе подарил тоже слоновый зуб-клык и написал на нём по-русски и по-французски память тебе о твоём рождении и жизни, проходившей в Паулисе-Джюгу — в Бельгийской Африке.

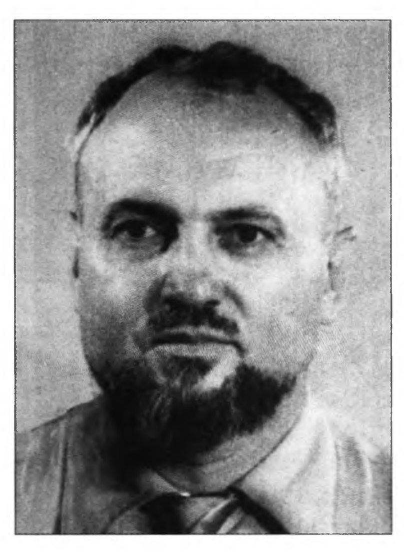
Место, где ты родился, мы много-много раз проезжали. Я тебе это место показывал, и ты его хорошо знаешь, так как там не раз мы потом покупали пальмовые фрукты для нашей маслобойной фабрики, а также возили кофе с нашей кофейной плантации Элимба в Паулис. А все колониальные подарки ты и теперь видишь. Пишу вот это тебе и вспоминаю золотые денёчки...

Имя же Святослав я тебе дал в память наших древних славян и их большого вождя; кровь их течёт как во мне, так и в тебе. Держись, сыночек, славянства.

Крестил тебя греческий священник в Паулисе (Уэле), в Бельгийском Конго, о чём я тебе передал удостоверение, в православную веру, какой были все наши предки — донские казаки. Так будь же и ты православным, как и твой отец Михаил Васильевич Любовин.



В имении Любовиных. Элимба. Конец 1950-х гг.



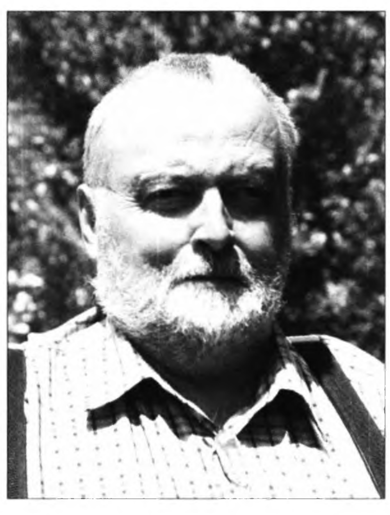
Михаил Васильевич Любовин.
Бельгийское Конго. 1955 г.



Ирина Эдмундовна и Михаил Васильевич Любовины на свадьбе сына. Брюссель. 1975 г.



Святослав Любовин.
Бельгийское Конго. 1957 г.



Святослав Михайлович Любовин.
Либин. Бельгия. 2014 г.

Комментарии

[1] Существует несколько гипотез о происхождении казачества. Изложенная М.В. Любовиным версия близка к так называемой «славянской гипотезе» и в целом соответствует современным представлениям об исторических событиях и историческим преданиям. Официальное сотрудничество с Русским царством донские казаки начали в качестве союзников, завоевав Астраханское и Казанское ханства, и, образовав Войско Донское, продолжили впоследствии, участвуя, к примеру, в Ливонской войне. Вскоре казаки стали основой новых войск Русского царства. Усилиями казачьих дружин к России были присоединены обширные территории Сибири. До конца XVI века Донское казачье войско было абсолютно независимым, и до 1716 года Русское царство вело отношения с областью Войска Донского через Посольский приказ, как со всеми другими самостоятельными государствами. Донские казаки присягнули царю Алексею Михайловичу в 1671 году. В 1721 году Донское войско было подчинено Санкт-Петербургской военной коллегии. К концу царствования Петра Великого в ведомство военной коллегии перешли все остальные казачьи общины, внутреннее их устройство было преобразовано, правительство использовало казачьи войска для колонизации вновь завоёванных земель и охраны государственных границ, преимущественно южной и восточной, и в военных действиях.

[2] Новочеркасская военно-фельдшерская школа основана в 1872 году, впоследствии это медицинское училище (под разными названиями), с 2007 года — Новочеркасский медицинский колледж.

[3] Атаман Чуркин — легендарная личность, герой народной песни о разбойниках. Песня о Чуркине-атамане является народной обработкой стихотворения немецкого поэта Фердинанда Фрейлиграта (1810–1876). Стихотворение переведено на русский язык в 1846 году Фёдором Миллером под заглавием «Погребение разбойника». У Миллера речь идёт об итальянских разбойниках; в народной песне безымянный итальянский герой заменён на легендарного русского атамана-разбойника Чуркина (см. прим. 8).

[4] Полный текст песни:

Конь боевой с походным вьюком
У церкви ржёт, кого-то ждёт;
В ограде бабка плачет с внуком,
Молодка горьки слезы льёт.
А из дверей святого храма
Казак в доспехах боевых
Идёт к коню из церкви прямо
В кругу знакомых и родных.

Жена коня ему подводит,
Племянник пику подаёт;
Вот говорит отец: «Послушай
Моих речей ты наперёд.
Мы послужили государю,
Теперь уж твой черёд служить;
Так поцелуй ты жинку Варю, —
И Бог тебя благословит.
Дарю коня тебе гнедого,
Он таровит был у меня;
Он твоего отца седого
Носил в огонь и из огня.»

[5] Полный текст песни:

Ехали казаки со службы домой,
На плечах — погоны, на грудях — кресты.
Подъезжают к дому — родитель стоит.
«Здорово, папаша!» — «Здорово, сынок». —
«Расскажи, папаша, про семью мою». —
«Семья, слава Богу, прибавилася,
Жена молодая сыночка родила,
Да с этого горя и сама чуть жива».
Сын отцу — ни слова, садился на коня,
Сам садился на коня и поехал до двора.
Подъезжает к дому — стоят мать и жена.
Мать стоит с улыбочкой, а женёнка во слезах.
Мать сыночка просит: «Прости, сын, жену». —
«Тебя, мать, прощаю, женёнку никогда!» —
Закипело сердце во казачьей груди,
Засверкала шашечка во правой руке,
Скатилась головушка со неверной жены.
«Ой, Боже мой, Боже мой, да чего ж я наробил!
Жену я зарезал, сам себя погубил,
Малую малюточку на весь век осиротил,
Жену похоронят, а меня закуют,
Малую малюточку в чужи люди отдадут.
Все моё именьице с аукциона продадут».

[6] Полный текст песни:

Поехал казак на чужбину далёку —
На верном коне он своём вороном,
Свою он краину навеки покинул —
Ему не вернуться в отеческий дом.
Напрасно казачка, жена молодая,
Всё утро и вечер на север глядит:
Всё ждёт-поджидает с далёкого края,
Когда её милый казак прилетит...

А там за горами, где вьются метели,
Где страшны морозы зимою трещат,
Где сдвинулись дружно и сосны, и ели, —
Там кости казачьи под снегом лежат.
Казак, умирая, просил и молил —
Насыпать курганчик ему в головах,
И пусть на кургане залётная пташка,
Порой прощебечет про жизнь казака.

[7] Песенная переработка думы декабриста Кондратия Рылеева «Смерть Ермака»:

Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молнии блистали,
И беспрерывно гром гремел,
И ветры в дебрях бушевали...

Ко славе страстию дыша,
В стране суровой и угрюмой,
На диком бреге Иртыша
Сидел Ермак, объятый думой.

Товарищи его трудов,
Побед и громкозвучной славы
Среди раскинутых шатров
Беспечно спали средь дубравы.

Страшась вступать с героем в бой,
Кучум к шатрам, как тать презренный,
Прокрался тайною тропой,
Татар толпами окруженный.

Мечи сверкнули в их руках,
И окровавилась долина,
И пала грозная, в боях
Не обнажив мечей, дружина.

Ермак воспрянул ото сна
И, гибель зря, стремится в волны,
Душа отвагою полна...
Но далеко от брега чёлны!

Иртыш волнуется сильней...
Ермак все силы напрягает —
И мощною рукой своей
Валы седые рассекает.

Ревела буря... Вдруг луной
Иртыш кипящий осребрился,
И труп, извергнутый волной,
В броне медяной озарился.

Носились тучи, дождь шумел,
И молнии ещё сверкали,
И гром вдали ещё гремел,
И ветры в дебрях бушевали.

[8] Полный текст песни:

Среди лесов дремучих разбойники идут
И на плечах могучих носилочки несут.

Припев:
Всё тучки, тучки понависли, а с моря пал туман,
Скажи, о чём задумался, скажи, наш атаман.

Носилки не простые — из ружей сложены,
А поперёк стальные мечи положены.
Припев.
На них лежит сраженный разбойник молодой,
Он весь окровавленный, с разбитой головой.
Припев.
Два длинных пистолета за поясом торчат,
Ремни его кольчуги оборваны висят.
Припев.
А кровь из жгучей раны течёт по волосам,
И взор его туманный обёрнут к небесам.
Припев.
Пришли они к могиле, сказали: «Братцы, стой!
Прощай же, наш товарищ, разбойник молодой».

[9] Полный текст песни:

За Уралом за рекой
Казаки гуляют
И калёною стрелой
За Урал пущают.
Гей, гей! Пей-Гуляй! —
За реку пущают.

Казаки не простаки —
Вольные ребята;
Носят шапки-тумаки
И живут богато.
Гей, гей! Пей-гуляй! —
И живут богато.

В тёмном лесе до полночи,
В поле разъезжают,
Всё добычи стерегут,
Свищут — не зевают.
Гей, гей! Пей-Гуляй! —
Свищут — не зевают.

Штык булатный — верный друг,
Шашка — лиходейка;
Пропадёшь ты не за грош, —
Жизнь наша — копейка!
Гей, гей! Пей-Гуляй! —
Жизнь наша — копейка!

[10] Вариант следующей песни:

Из-за лесу, лесу — копия мечей,
Едет сотня казаков-усачей.
Э-ге-гей, говорят,
Едет сотня казаков-усачей.

Уж вы братцы, казаки-усачи,
Шашки к бою, со мной по полю скачи.
Э-ге-гей, говорят,
Шашки к бою, со мной по полю скачи.

Эх, на завалах мы стояли, как стена,
Пуля сыпалась, жужжала, как пчела,
Э-ге-гей, говорят,
Пуля сыпалась, жужжала, как пчела.

Пуля сыпалась, летела, как пчела,
Степь-то чистыми цветочками цвела.
Степь-то чистыми цветочками цвела,
Кровь казачья по колено лошадям.

[11] Полный текст песни:

Много лет Войску Донскому,
Много лет нашим донцам,
Войсковому атаману,
Всем станицам и полкам!

За Святую Русь исправно
Грудью бьются казаки,
С гиком бьют на басурмана,
Лавой топчут их полки.

Наши сотни, наши пики
Страшны, памятны врагам.
Мы с казачьим нашим гиком
Бьём нещадно басурман!

Только враг зашевелится —
Наш казак уж на коне,
Рубит, колет, веселится
В неприятельской стране.

Много лет Войску Донскому,
Много лет нашим донцам,
Войсковому атаману,
Всем станицам и полкам!

[12] Песня, написанная в 1853 году Ф.И. Анисимовым в связи с началом Крымской войны 1853–1856 годов. Является символом донского казачества. Существует несколько вариантов текста песни. Один из вариантов, написанный в 1918 году Гиляревским, является официальным гимном Всевеликого Войска Донского, а три куплета этого варианта песни — гимном Ростовской области. М.В. Любовин приводит 1-й и 3-й куплет современного варианта гимна. Полный текст:

Всколыхнулся, взволновался
Православный Тихий Дон,
И послушно отозвался
На призыв свободы он.

Зеленеет степь родная,
Золотятся волны нив,
И, с простора долетая,
Вольный слышится призыв.

Дон детей своих сзывает
В Круг Державный Войсковой,
Атамана выбирает
Всенародною душой.

В боевое грозно время,
В память дедов и отцов —
Вновь свободно стало племя
Возродившихся донцов.

Славься, Дон, и в наши годы,
В память вольной старины,
В час невзгоды — честь свободы
Отстоят твои сыны.

[13] 17-й Донской казачий генерала Бакланова полк являлся прямым наследником Донского казачьего Рыковского полка, который был сформирован в середине 1820-х годов и принимал участие в русско-турецкой войне 1828–1829 годов. Генерал Яков Петрович Бакланов (1809–1873), герой Кавказской войны, командовал полком в 1850–1853 годах. Полк отличился в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов и в 1-й мировой войне в Брусиловском прорыве.
[14] Вариант добровольческой песни, начинающейся так:

Слышали, братья,
Война началася!
Бросай своё дело,
В поход снаряжайся.
Припев:
Смело мы в бой пойдём
За Русь Святую
И как один прольём
Кровь молодую!

В годы 1-й мировой войны в Русской армии была популярна похожая песня «Слышали, деды...» на мелодию романса «Белой акации грозди душистые» с мелодией припева, заимствованной у гусарской мазурки. В Красной армии был свой вариант песни на этот мотив с таким припевом:

Смело мы в бой пойдём
За власть советов
И как один умрём
В борьбе за это.

[15] Песня «Марш корниловцев». Текст написан прапорщиком Корниловского ударного полка Александром Порфирьевичем Кривошеевым (дослужился до капитана, умер в 1975 г. во Франции). Мотив к нему капитан Игнатьев заимствовал: интонации добровольческой песни 1913 года и популярного в 1914–1915 гг. сербского гимна А. А. Архангельского «Кто свою отчизну любит». Полный текст:

Пусть вокруг одно глумленье,
Клевета и гнёт,
Нас, корниловцев, презренье
Черни не убьёт!

Припев:
Вперёд на бой, вперед на бой,
На бой, открытый бой!

Мы былого не жалеем,
Царь нам не кумир.

Мы одну мечту лелеем:
Дать России мир.
Припев.
Верим мы: близка развязка
С чарами врага,
Упадёт с очей повязка
У России, да!
Припев.
Русь поймёт, кто ей изменник,
В чём её недуг,
И что в Быхове не пленник
Был, а верный друг.
Припев.
За Россию и свободу
Если в бой зовут,
То корниловцы и в воду
И в огонь пойдут.
Припев.

[16] «Песня добровольцев студенческого батальона» 1918 года. Батальон создан в Ростове-на-Дону и вошёл в состав Партизанского (будущего Алексеевского) полка Добровольческой армии. Есть данные, что песня возникла ещё в 1914–1915 годах на волне патриотического добровольческого движения (содержание это подтверждает). А когда в начале Гражданской войны стали возникать белые добровольческие части, песня вновь обрела актуальность — уже как песня Белого движения. Упоминается под разными заглавиями: «Добровольческая», «Студенческая песнь», «Мы дети России Великой!» (песня Добровольческих частей) и прочими в разных вариантах. Мелодия основана на известном марше Василия Агапкина «Прощание славянки». Полный текст:

Вспоили вы нас и вскормили,
Отчизны родные поля,
И мы беззаветно любили
Тебя, Святой Руси земля.

Мы дети отчизны великой,
Мы помним заветы отцов,
Погибших за край свой родимый
Геройскою смертью бойцов.

Пусть каждый и верит, и знает:
Блеснут из-за тучи лучи,
И радостный день засияет,
И в ножны мы сложим мечи.

Припев после каждого куплета:
Теперь же грозный час борьбы настал,
Коварный враг на нас напал,
И каждому, кто Руси сын,
На бой с врагом лишь путь один.
Приюты наук опустели,
Все студенты готовы в поход.
Так за Отчизну, к великой цели
Пусть каждый с верою идёт.

[17] Речь идёт о разгоне Кубанской Законодательной Рады. В феврале 1918 года в Екатеринодаре Рада приступила к решению вопросов государственного устройства края, был утверждён трёхполосный сине-малиново-зелёный флаг Кубани, исполнен краевой гимн «Ты, Кубань, ты — наша Родина». Накануне в Париж на Версальскую мирную конференцию была послана делегация Рады. Идея кубанской государственности вступила в конфликт с лозунгом генерала А.И. Деникина о великой, единой, неделимой России. Председателю Рады Н.С. Рябоволу это противостояние стоило жизни. В июне 1919 года он был застрелен в Ростове-на-Дону деникинским офицером. В ответ на это убийство с фронта началось повальное дезертирство кубанских казаков, в результате которого в Вооружённых силах юга России их осталось не более 10%, а было около 68%. На парижский дипломатический демарш Рады Деникин ответил её разгоном и повешением казачьего полкового священника А. И. Кулабухова, члена парижской делегации. Остальные члены делегации, боясь расправы, не вернулись на Кубань. Несколько членов делегации (почти все черноморцы) по приказу генерала Врангеля были преданы военно-полевому суду.

[18] В мае 1917 года Большой Войсковой Круг создал Донское войсковое правительство во главе с генералом А.М. Калединым, затем А.П. Богаевским, с образованием Добровольческой армии оно фактически подчинялось деникинскому правительству — Особому совещанию, после поражения Белого движения продолжило свою деятельность в эмиграции в Константинополе в 1920-1921 годах, затем с 1922 года в балканских странах.

[19] Караимы — немногочисленная тюркоязычная народность, исповедуют караизм, являющийся, по разным источникам, либо четвёртой, самой малочисленной авраамической религией (т.е. происходящей из древней традиции, восходящей к патриарху семитских племён Аврааму), либо особым ответвлением от иудаизма.

[20] Трипаносомы (Trypanosoma), паразитические простейшие, возбудители африканской сонной болезни (трипаносомоза), переносимые мухой цеце.

[21] Висиконго (Vicicongo) — железнодорожная линия в Демократической республике Конго, построенная в 1920-х годах компанией «Vicicongo»: Бумба (порт на реке Конго) — Акети — Бута — Ликати — Исиро — Мунгбере, с подъездными путями в Бондо и Титуле. Ширина колеи 600 мм. Линия находится в запущенном состоянии и не используется, последние поезда по ней проходили в 2002–2003 году.

[22] Ленивец — животное отряда неполнозубых, отличающееся малоподвижным образом жизни, с обезьяной имеет чисто внешнее сходство и не родствен ей.

[23] Китавала — афрохристианская синкретическая иеговистская секта, враждебно относящаяся к любой власти.

[24] Армия Андерса — польское воинское формирование, часть вооружённых сил Польской Республики, созданное по прошению генералов Владислава Андерса и Зигмунда Шишко-Богуша (главы польской военной миссии в СССР) в 1941-1942 годах на территории СССР по соглашению между советским правительством и польским правительством в изгнании. Армия формировалась из польских граждан, в том числе беженцев, интернированных военнослужащих польской армии и амнистированных заключённых. В июле 1943 года части армии Андерса были переформированы во 2-й Польский корпус в составе Британской армии. Польские части воевали в Иране, на Ближнем Востоке, в Италии. В 1947 году армия Андерса была расформирована, большая часть военнослужащих осталась в эмиграции в Италии, другая часть вернулась в Польшу.

Упоминаемые исторические лица

Абрамов Фёдор Фёдорович (1871–1963), русский военачальник, участник Русско-японской и 1-й мировой войн, один из руководителей Белого движения во время Гражданской войны в России, в эмиграции в Сербии, Болгарии, США, один из руководителей Русского общевойскового союза (РОВС).

Алексинский Иван Павлович (1871–1945), русский хирург, профессор Московского университета, доктор медицины (1899), участник 1-й мировой войны, заведовал медицинской частью Красного Креста Юго-Западного фронта, активно работал в тылу в качестве главврача клиники Иверской общины, в годы Гражданской войны работал в военных госпиталях Добровольческой армии. В конце 1920 года эвакуировался из Крыма в Константинополь. С 1921 года был членом президиума Русского парламентского комитета. С 1923 года жил в Париже, возглавлял Общество русских врачей имени Мечникова, был вице-председателем Русско-французского хирургического госпиталя. Лечил генерал-лейтенанта барона П.Н. Врангеля во время смертельной болезни в 1928 году. Около 1935 года переехал в Касабланку (Марокко), где был избран вице-председателем церковной общины при церкви Успения Божией Матери.

Богаевский Африкан Петрович (1872–1934), генерал-лейтенант, участник 1-й мировой войны, Георгиевский кавалер, в 1917 году начальник Забайкальской казачьей дивизии, затем 1-й гвардейской кавалерийской дивизии, с января 1918 года в Войске Донском, командующий войсками Ростовского района, в Добровольческой армии с первых дней, участник 1-го Кубанского похода, командир Партизанского полка, затем 2-й бригады, с мая 1918 года председатель Донского правительства, в феврале 1919 года избран Войсковым атаманом Всевеликого Войска Донского, в этой должности оставался до конца жизни, в январе 1920 года председатель Южно-Русского правительства, после эвакуации Русской армии из Крыма создал Объединённый совет Дона, Кубани и Терека, с 1922 года жил в Белграде, с 1923 года — в Париже, где и скончался.

Богаевский Митрофан Петрович (1881–1918), казак станицы Каменская Области Войска Донского, выпускник историко-филологического факультета Петербургского университета, в 1911–1914 годах преподавал в Новочеркасской гимназии; в 1914–1917 годах — директор гимназии в станице Каменской, занимался изучением истории Области Войска Донского, выступал за возрождение старинных казачьих традиций и культуры, оратор, прозванный «донским златоустом», пользовался высоким авторитетом среди казаков, после Февральской революции

1917 года был председателем 1-го Всероссийского казачьего съезда в Петрограде, в апреле 1917 года в Новочеркасске — председатель 1-го съезда донских казаков, возродил значение казачьего народоправства. Созванный после 196-летнего перерыва Донской Войсковой Круг (26 мая — 18 июня 1917 года, Новочеркасск) избрал его своим председателем и товарищем Войскового атамана А.М. Каледина. Октябрьскую революцию встретил враждебно, был в числе идейных вдохновителей одного из первых вооружённых выступлений, ознаменовавших начало Гражданской войны, в декабре 1917 года вошёл в Донской гражданский совет, претендовавший на роль Всероссийского правительства (выступление против Советской власти не было поддержано казачьей массой и потерпело поражение). 29 января 1918 года вместе с А.М. Калединым сложил свои полномочия, 6 марта был арестован красногвардейцами в станице Великокняжеской, содержался в Новочеркасске, затем в Ростове-на-Дону, где расстрелян 1 апреля 1918 года.

Владимирова Анна Анисимовна, в первом браке Киевская, мать В.И. Любовиной, бабушка М.В. Любовина, проживала в станице Константиновской.

Волконский, князь, крестник сербского короля Александра, в эмиграции в Сербии, возможно *Волконский Николай Петрович* (1897-1924), поручик лейб-гвардии Гусарского полка, в эмиграции в Югославии, чиновник, умер 2 января 1924 года в Петрова-Радине близ Нови-Сада.

Волошенко И.С., полковник, врач, директор Новочеркасской военно-фельдшерской школы (с 1919 года средней медицинской школы) в 1917-1923 годах, сведения М.В. Любовина о том, что он покончил жизнь самоубийством в Гражданскую войну, не соответствуют действительности.

Врангель Пётр Николаевич (1878-1928), барон, окончил Горный институт (1901), академию Генштаба (1910), генерал-лейтенант, начальник Уссурийской конной дивизии, 7-й кавалерийской дивизии, командующий 3-м и Сводным конным корпусами, Георгиевский кавалер, в Добровольческой армии с 25 августа 1918 года; с 28 августа 1918 года командир бригады 1-й конной дивизии, с 31 октября 1918 года начальник 1-й конной дивизии, с 15 ноября 1918 года командир 1-го конного корпуса, с 27 декабря 1918 года командующий Добровольческой армией, с 10 января 1919 года командующий Кавказской Добровольческой армией, с 26 ноября по 21 декабря 1919 года командующий Добровольческой армией, с 22 марта 1920 года главнокомандующий ВСЮР и Русской армией, с 1924 года начальник образованного из Русской армии Русского общевоинского союза (РОВС), с сентября 1927 года проживал в Брюсселе, где и умер.

Гаврилов Николай (ок. 1900–1919), выпускник военно-фельдшерской школы в Новочеркасске, одноклассник М.В. Любовина, участник Белого движения, смертельно ранен под Ростовом-на-Дону.

Голицын, князь, управляющий Русско-французским хирургическим госпиталем в Париже.

Голубов Николай Матвеевич (1881–1918), войсковой старшина, сотник, участник Русско-японской и 1-й мировой войн (в составе конного 27-го Донского казачьего полка), храбрец и авантюрист, в годы Гражданской войны сначала встал в оппозицию к атаману А.М. Каледину, затем перешёл к красным, возглавлял Военно-революционный комитет станицы Каменской, что расценивалось как предательство, однако, деятельность его была противоречивой: его отряды препятствовали грабежу и арестам в занятом красными Новочеркасске.

Долгопятов Григорий Иванович (1897–1948), участник 1-й мировой и Гражданской войн, выпускник Новочеркасского казачьего училища, в службу вступил в 1915 году казаком в 19-й Донской казачий полк, в офицеры произведён в конце 1915 года, с 1917 года есаул. В 1918 году вступил в ряды Донской армии, 13 апреля 1918 года произведён в войсковые старшины, по состоянию на сентябрь 1920 года — генерал-майор, командир 18-го Донского казачьего полка (1920–1921), награждён Георгиевским крестом 4-й ст. (1918), в эмиграции в Болгарии, затем в Чехословакии, где учился в Пражском университете, состоял в ряде политических, профессиональных и творческих организаций, в том числе в Международном союзе журналистов; его статьи публиковались в зарубежных изданиях.

Дорошенко, возможно — *Дорошенко Дмитрий Иванович* (1882–1951), политический деятель, историк, публицист, литературовед, библиограф, министр иностранных дел в правительстве Украинской державы (1918), в эмиграции с 1919 года в Вене, Праге и с 1945 года в Мюнхене, профессор, а затем ректор Украинского свободного университета. В 1918 году принимал делегацию Кубанской Рады и вёл переговоры о воссоединении Кубани и Украинской державы.

Ермак Тимофеевич (1532/1534/1542– 1585), казачий атаман, исторический завоеватель Сибири для Российского государства, по преданию утонувший в Иртыше после того, как его отряд был уничтожен сибирским ханом Кучумом, либо, по легендам сибирских татар, смертельно ранен татарским богатырём Кутугаем; место захоронения Ермака доподлинно не известно, существует несколько преданий, по одному из них (Ремезовская летопись), он был захоронен на некоем «Баишевом кладбище» и его могила излучала свет; одна из легенд изложена в настоящий книге на с. 15–16.

Каледин Алексей Максимович (1861–1918), российский военачальник, генерал от кавалерии (1915), первый выборный атаман Войска Донского, деятель Белого движения, 29 января 1918 года в связи с невозможностью защиты Донской области сложил с себя полномочия и застрелился, объяснив это в письме «отказом казачества следовать за своим атаманом» (по некоторым данным, был убит в результате покушения).
Клевер Пётр Николаевич (1893–1962), участник Белого движения, есаул, работал инженером, прорабом в Конго (Элизабетвиль, Леопольдвиль), затем был плантатором на севере Руанды.
Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918), выдающийся русский военачальник, Генерального штаба генерал от инфантерии, военный разведчик, дипломат и путешественник, Верховный Главнокомандующий Русской армией с августа 1917 года, один из организаторов и Главнокомандующий Добровольческой армией, вождь Белого движения на Юге России, 31 марта/13 апреля 1918 года убит при штурме Екатеринодара.
Кутепов Александр Павлович (1882–1930), русский военный деятель, участник Русско-японской, 1-й мировой и Гражданской войн, полковник (1916), командир 2-го батальона Преображенского полка, затем командующий этим полком (1917), активный участник Белого движения с декабря 1917 года, участник 1-го и 2-го Кубанских походов, 1-й генерал от инфантерии (1920). После взятия белыми войсками Новороссийска назначен Черноморским военным губернатором, генерал-майор (1918). Действия Кутепова по жёсткому наведению порядка вызывали резкую критику со стороны общественных деятелей, называвших его режим «кутепией». С января 1919 года — командир 1-го Армейского корпуса в Донецком бассейне, генерал-лейтенант (1919). Командовал корпусом во время наступления Добровольческой армии на Москву и в период отступления от Орла до Новороссийска. В марте 1920 года прибыл с корпусом в Крым, участвовал в боях в Северной Таврии, после разделения Русской Армии генерала Врангеля на две армии, был назначен 4 сентября 1920 года командующим 1-й армией. В эмиграции в Галлиполи, затем в Болгарии, Сербии, Париже (с 1924 года), активный участник и в 1928–1930 годах председатель РОВС, похищен 20 января 1930 года агентами советской разведки, скончался от сердечного приступа, по одной версии, на советском теплоходе по дороге из Марселя в Новороссийск, по другой — при оказании сопротивления в Париже при задержании.
Любовин Александр Васильевич (1899–1965), брат М.В. Любовина, участник Гражданской войны, воевал в Лейб-гвардии Донском казачьем полку (в 1919–1920 годах подхорунжий-инструктор), затем после эвакуации из Новороссийска в Крым — в 18-м

Георгиевском Донском (Гундоровском) казачьем полку, был ранен в руку, в 1920 году эвакуировался из Севастополя в Константинополь, в эмиграции жил в Сербии, Болгарии, затем во Франции, откуда в 1928 году уехал на работу в Африку, участвовал во 2-й мировой войне, служил санитаром, получил контузию (его едва не раздавил танк), после войны жил в Бельгии, занимался живописью, скончался в 1965 году от туберкулёза.

Любовин Василий Михайлович (1865–1905), донской казак, сотник, отец М.В. Любовина.

Любовин Михаил Александрович (1832–1907), зажиточный донской казак, коммерсант, уроженец станицы Константиновской 1-го округа Всевеликого Войска Донского, дед М.В. Любовина.

Любовин Михаил Васильевич (1900–1995), донской казак, уроженец станицы Константиновской, выпускник Новочеркасской военно-фельдшерской школы (1919), участник Гражданской войны, в Добровольческой армии с 1917 года работал фельдшером в госпиталях, на санитарных поездах, секретарём военно-санитарного управления в Евпатории (1919–1920 годы), в 1920 году эвакуировался из Севастополя, в 1921–1924 годах проживал в Сербии, работал в больнице, в 1924–1927 годах жил во Франции, где учился на медицинском факультете Сорбонны, в 1926 году получил диплом фельдшера, в 1927–1930 годах работал фельдшером во Французском Конго, с 1930 года — в Бельгийском Конго, в 1938–1960 годах владел кофейными плантациями, в 1961 году лишился имущества в Конго, переехал в Бельгию, жил в Брюсселе, в 1961–1965 годах служил провизором в аптеке, с 1965 года на пенсии, скончался 11 апреля 1995 года.

Любовин Святослав Михайлович (род. 1949), сын М.В. Любовина, родился в Бельгийском Конго, где проживал с родителями, в феврале 1961 года переехал с родителями в Бельгию, получил высшее образование, до выхода на пенсию в 2014 году работал в различных страховых компаниях.

Любовина Варвара (1840–1865), урождённая Мельникова, жена М.А. Любовина, бабушка М.В. Любовина.

Любовина Вера Ивановна (1877–1921), урождённая Киевская, жена В.М. Любовина, мать М.В. Любовина.

Любовина Евлампия Васильевна (1905–?), в замужестве Абрамова, сестра М.В. Любовина, проживала в г. Москве.

Любовина Ирина Эдмундовна (1914–2002), урождена Крувялис (Крювиалис), жена М.В. Любовина с 1948 года, мать С.М. Любовина, до 1961 года домохозяйка, по возвращении из Конго с 1961 года до выхода на пенсию в 1979 году работала секретарём в различных компаниях.

Любовина Любовь Васильевна (1902–?), в замужестве Сердюкова, сестра М.В. Любовина, проживала в г. Москве.

Май-Маевский Владимир Зенонович (Зиновьевич). (1867–1920), военачальник русской армии и Белого движения, Генерального штаба генерал-лейтенант (1917), весной 1918 года бежал на Дон и вступил рядовым солдатом в Дроздовскую дивизию Добровольческой армии. Временно командующий 3-й (Дроздовской) дивизией (с 19.11.1918), начальник той же дивизии (с 05.01.1919), одновременно начальник Донецкого отряда (январь–май 1919), командир 2-го армейского корпуса (с 12.02.1919), генерал-лейтенант (1919), командующий Добровольческой армией (с 22.05.1919), созданной на базе Донецкой группы, 27 ноября 1919 года за кутежи и пьянство уволен в отставку, во время обороны Крыма руководил тыловыми частями и гарнизонами Русской армии; по одной версии, застрелился во время эвакуации Белой армии из Севастополя 30 ноября 1920 года, по другой — умер от разрыва сердца в одной из больниц Севастополя либо в пути следования на автомобиле к кораблю для эвакуации. Имел прозвище Май.

Маршак Аким (Иоахим) Осипович (1885–1938), врач-хирург, окончил Высший коммерческий институт в Антверпене и медицинский факультет Парижского университета, участник 1-й мировой войны, после 1917 года с французской военной миссией был несколько месяцев в Екатеринодаре, по возвращении во Францию демобилизован, занялся частной практикой, в 1920 году удостоен премии Перрона и звания лауреата французской Медицинской академии, специалист в области хирургии и гинекологии, популярный в русской колонии Парижа доктор медицины, известный общественный деятель, в 1922 году стал одним из основателей Общества русских врачей им. Мечникова, до кончины — товарищ председателя правления этого общества, выступал на его заседаниях с докладами, практиковал в русской амбулатории Красного Креста в Париже, в 1924 году работал также в русской лечебнице для приходящих больных.

Некрасов Игнат Фёдорович (1660–1737), донской атаман, один из активных участников Булавинского восстания 1707–1709 годов, после поражения восстания сначала резиденцией Некрасова на Кубани была станица Некрасовская, затем он переселился на Таманский полуостров, придерживался старой веры, его последователей-казаков называли некрасовцами.

Попов Пётр Харитонович (1867–1960), участник 1-й мировой войны и Белого движения, генерал-майор (1914), генерал-лейтенант (1918), начальник Новочеркасского казачьего училища (1910–1918), генерал от кавалерии (1919), походный атаман Донского казачьего войска (избран 30.01.1918), председатель Донского правительства и министр иностранных дел (1919), далее оставался в резерве атамана А.П. Богаевского, затем командовал

Донским корпусом в Русской армии генерала Врангеля (до ноября 1920 года), в эмиграции в Болгарии (1920–1924), Франции (1924–1928), США (1928–1938), Чехословакии (1938–1939), Германии (1939–1945), США (1946–1960).

Слащёв-Крымский Яков Александрович (1885/1886–1929), русский военачальник, генерал-лейтенант, активный участник Белого движения на юге России, руководитель обороны Крыма зимой 1919–1920 годов, в 1921 году в эмиграции в Константинополе, в том же году вернулся в Советскую Россию, преподавал тактику в школе комсостава «Выстрел», убит 11 января 1929 года в Москве.

Соломенцев Дмитрий Павлович (1901–1986), врач-хирург, выпускник медицинского факультета Тартусского университета, работал во Французском и Бельгийском Конго в 1931–1946 годах (Акети, Руби), имел прозвище «доктор Соло», затем жил и практиковал в Бельгии.

Стамболийский Александр Стоименов (1879–1923), премьер-министр Болгарии в 1919–1923 годах, представлял Болгарский земледельческий народный союз, однако проводил настолько радикальные реформы, что переманил на свою сторону многих коммунистов, во время военного переворота был свергнут и убит.

Степанов, полковник, профессор практической хирургии в Донской больнице г. Новочеркасска (1917–1918).

Ушаков Семён, полковник, директор Новочеркасской военно-фельдшерской школы в 1914–1916 годах.

Холмский, войсковой старшина, фельетонист (публиковался в «Русском инвалиде» под псевдонимом Курмояров), с 1917 года на Дону участвовал в Белом движении, редактировал официальную прессу Донского правительства, формировал отряды добровольцев, комендант окружной станицы Каменской, расстрелян за разбой, мародёрство и грабежи в 1918 году по решению Каменского военно-полевого суда.

Упоминаемые топонимы

Акети, посёлок и территория в Бельгийском Конго, в настоящее время в провинции Нижнее Уэле, Демократическая Республика Конго.

Ак-Мечеть, посёлок на западе (Тарханкутском полуострове) Крыма, с 1944 года пос. Черноморское, районный центр Республики Крым.

Арабатская стрелка, узкая и длинная коса в северо-восточной части полуострова Крым, состоящая в основном из ракушечного материала, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря.

Багаевская, станица в Ростовской области России, административный центр Багаевского района.

Бамбари, город в Центральноафриканской Республике, на р. Вака (бассейн Конго), административный центр префектуры Вака.

Банат, историческая местность венгров, разделённая между Сербией, Румынией и Венгрией.

Бачка, регион в Сербии, часть автономного края Воеводина.

Бачко Градиште, населённый пункт в Сербии, в Южно-Бачком округе, в 35 км от г. Нови-Сад.

Бельфор, город на востоке Франции, административный центр территории Бельфор, транспортный узел у горного прохода между Вогезами и Юрой («Бургундские ворота»).

Беочин, православный монастырь в Сербии, расположен на северном склоне кряжа Фрушка-Гора, рядом с городом Беочин, находится в юрисдикции Сербской православной церкви, основан в XVI веке.

Берн, город федерального значения, фактическая столица Швейцарии, а также столица немецкоязычного кантона Берн и административный центр округа Берн-Миттельланд.

Бомоканди, река в Африке, приток р. Уэлле, системы р. Конго.

Бондо, город в Бельгийском Конго на северном берегу реки Уэлле, ныне в провинции Нижнее Уэле Демократической Республики Конго.

Браззавиль, финансовая и административная столица Республики Конго, расположен на правом берегу реки Конго, в 1903–1910 годах административный центр Французского Конго, в 1910–1958 годах центр Французской Экваториальной Африки и Среднего Конго.

Галлиполи, полуостров в европейской части Турции, расположен между Саросским заливом Эгейского моря и проливом Дарданеллы, в 1920–1921 годах военный центр Белой эмиграции.

Гундоровская, станица на правом берегу Северского Донца, с 1945 года рабочий посёлок в Ростовской области России, с 1951 года город Гундоровка, в 1955 году переименован в Донецк.

Евпатория, приморский город-курорт на западном побережье Крыма.

Зеленика, небольшой городок, территориально принадлежащий муниципалитету Герцег-Нови, находящийся на северном берегу Боко-Которской бухты в Черногории.

Земио, селение на территории префектуры Верхнее Мбому Центральноафриканской Республики, в настоящее время в 5 км находится небольшой аэропорт.

Каменоломни, станция в километре от казачьего хутора Максимовского, ныне в пос. Каменоломни Ростовской области России.

Конакри, административный центр колонии Французская Гвинея, с 2 октября 1958 года столица Гвинейской Республики, порт на берегу Атлантического океана.

Константиновская, станица 1-го округа Войска Донского, ныне г. Константиновск Ростовской области, административный центр Константиновского района.

Котарро, залив на Адриатическом побережье Черногории, недалеко от границы с Албанией.

Кочетовская, станица в Семикаракорском районе Ростовской области.

Кривянская, станица в Ростовской области, административный центр Кривянского сельского поселения в Октябрьском районе.

Леопольдвиль, город-порт в Бельгийском Конго на р. Конго напротив г. Браззавиль, с 1920 года столица колонии, с 1960 года столица Демократической Республики Конго, с 1966 года носит название Киншаса.

Маюмбе, населённый пункт в Бельгийском Конго.

Матади, главный морской порт Демократической Республики Конго и административный центр провинции Центральное Конго.

Мелине, небольшой курортный городок в Черногории.

Михайловская, станица в Курганинском районе Краснодарского края (ранее в Кубанской области).

Момбаса, крупный город-порт в Восточной Африке, административный центр Прибрежной провинции Кении.

Моссенджо, город в Республике Конго (бывшем Французском Конго).

Нахичевань-на-Дону, город, основанный армянами на правом берегу реки Дон, ныне в составе Пролетарского района города Ростова-на-Дону.

Нови-Сад, город в Сербии, в регионе Бачка, на берегу р. Дунай, административный центр автономного края Воеводина.

Новочеркасск, город в Ростовской области, столица донского казачества.

Паулис (Полис), город в Бельгийском Конго, ныне г. Исиро в провинции Верхнее Уэле Демократической республики Конго.

Персиановка, станица, ныне посёлок Персиановский в Октябрьском районе Ростовской области.

Раздорская, станица в Усть-Донецком районе Ростовской области, административный центр Раздорского сельского поселения.

Ростов-на-Дону, крупнейший город на юге России, административный центр Ростовской области и Южного федерального округа.

Руанда-Бурунди, мандатная территория Лиги Наций (группа «В») под управлением Бельгии с 22 июля 1922 года; с 13 декабря 1946 года подопечная территория ООН под тем же управлением; 1 июля 1962 года на территории Руанда-Бурунди образованы независимые государства Руанда и Бурунди.

Руби, населённый пункт на одноимённой реке, правом притоке реки Конго.

Семикаракорская (Семикаракоры), казачье поселение, ныне г. Семикаракорск Ростовской области, районный центр.

Срем, плодородный участок Среднедунайской низменности между реками Дунай и Сава, лежащий частью в Хорватии (Вуковарско-Сремская жупания), а большей частью — в Сербии (Сремский округ).

Александровская, станица в Ростовской области, ныне часть Пролетарского района Ростова-на-Дону.

Стенливиль, город на северо-востоке Бельгийского Конго, ныне в Республике Конго, административный центр провинции Верхнее Конго, с 1966 года называется Кисангани.

Сулин, железнодорожная станция Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги, находящаяся в г. Красный Сулин Ростовской области.

Титуле, город в Демократической Республике Конго на железнодорожной ветке Висиконго.

Уэле, провинции в Демократической Республике Конго: Верхнее Уэле и Нижнее Уэле.

Французская Экваториальная Африка (Французское Конго) — колониальное владение Франции в центральной Африке в 1910–1958 годах, в состав которого входили Габон, Среднее Конго (Республика Конго), Убанnги-Шари (Центральноафриканская Республика), Французский Чад (с 1920 года).

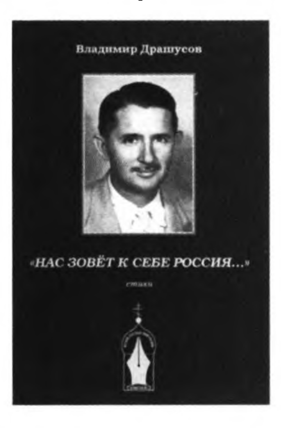
Элимба, населённый пункт в Бельгийском Конго в 125 км от г. Паулис.

Содержание



Архив Русской Эмиграции выпустил в свет книги:

Драшусов В.Е.
«Нас зовёт к себе Россия ...» // Стихи. — Москва — Брюссель: Conférence Sainté Trinity du Patriarcate de Moscou ASBL; Свято-Екатерининский мужской монастырь, 2009. — 112 с., илл.



Владимир Евгеньевич Драшусов (1917–2003) родился в Рязани в семье морского офицера. В 1920 году семья эмигрировала в Бельгию, но родители смогли воспитать детей в православной вере и любви к России, дали им достойное образование. В.Е. Драшусов стал хорошим специалистом по сельскому хозяйству, много лет работал в Конго, затем в Брюсселе, где был также старостой прихода Свято-Никольского храма. С отроческих лет Владимир Евгеньевич писал стихи, преимущественно на русском языке, который был ему родным. Его лирика дышит искренней любовью к России, к Богу, нежностью к близким людям, сочувствием к страждущим. Он сумел ярко выразить мысли, сокровенные чувства и чаяния своего поколения русской эмиграции.

Рейнгардт Ю.А.
«Мы для Родины нашей не мертвы...» // Воспоминания. Стихи. Сказки. — Москва — Брюссель: Conférence Sainté Trinity du Patriarcate de Moscou ASBL; Свято-Екатерининский мужской монастырь, 2010. — 288 с., илл.



Юрий Александрович Рейнгардт (1897–1976), участник 1-й мировой войны и Белого движения, в 1917–1924 годах воевал в Добровольческой армии в 1-м Офицерском генерала Маркова полку, капитан. Живя в эмиграции в Брюсселе, работал таксистом, но главным делом для него было литературное творчество. Большая часть его произведений при жизни не печаталась, за исключением некоторых рассказов-воспоминаний о Добровольческой армии в журналах русского зарубежья. Его лирика, хорошие поэтические переложения сказок «Аленький цветочек», «Дикие лебеди» и сказка-пародия «Одним махом семерых побивахом» публикуются впервые. Все произведения Юрия Рейнгардта проникнуты любовью к России, русскому народу, родному языку.

Столыпин А.А. Дневники 1919–1920 годов.
Романовский И.П. Письма 1917–1920 годов. — Москва — Брюссель: Conférence Sainté Trinity du Patriarcate de Moscou ASBL; Свято-Екатерининский мужской монастырь, 2011. — 296 с., илл.



Аркадий Александрович Столыпин (1894–1990), участник 1-й мировой войны и Белого движения, ротмистр, в эмиграции жил в Югославии и Швейцарии, работал в посольстве США. Его «Записки драгунского офицера» изданы в России в 1992 году. В книге публикуются две тетради его дневников, поступившие в АРЭ от доктора А.Б. Янцена, которые сам автор считал утерянными.

Иван Павлович Романовский (1877–1920), участник Русско-японской и 1-й мировой войн, генерал-лейтенант, один из главных организаторов Белого движения и Добровольческой армии, начальник штаба этой армии, а затем Вооружённых сил Юга России, близкий друг генерала А.И. Деникина. Был убит в Константинополе в 1920 году. Письма И.П. Романовского к жене Елене Михайловне переданы АРЭ внучками Н.Г. Рейнгардт, Е.Е. Оболенской и М.Е. Онацкой.

Архиепископ Василий (Кривошеин).
Переписка с Афоном. *Письма и документы.* — Москва — Брюссель: Conférence Sainté Trinite du Patriarcate de Moscou, ASBL; Свято-Екатерининский мужской монастырь, 2012. — 416 с., илл.



Владыка Василий (Кривошеин Всеволод Александрович, 1900–1985), занимавший Брюссельскую и Бельгийскую кафедру Русской Православной Церкви в 1960–1985 годах, был видным ученым-патрологом, доктором богословия. Начало своего иноческого служения он полагал в Русском Свято-Пантелеимоновском монастыре на Афоне, где подвизался с 1925 по 1947 год, когда принужден был покинуть Афон: ему предъявили ложные обвинения, сфабрикованные греческими властями, которые вели агрессивную политику эллинизации Святой Горы. Однако духовная связь архиепископа Василия с Афоном никогда не прерывалась.

В настоящей книге публикуется его переписка с афонскими насельниками на русском, английском, греческом и немецком языках, охватывающая период с 1940 по 1982 год. Большая часть писем ранее не издавалась. Письма и документы, которые владыка бережно хранил, представляют собой ценные исторические свидетельства и сохраняют актуальность, поскольку многие поднятые в них проблемы ещё не решены.





Русское Православие в Бельгии. В 2 т. Том 1. Статьи и очерки. — Москва — Брюссель: Conférence Sainté Trinite du Patriarcate de Moscou, ASBL; Екатерининский мужской монастырь, 2013. — 480 с., цв. кл. 32 с., илл.

Русское Православие в Бельгии. В 2 т. Том 2. Документы и воспоминания. — Москва — Брюссель: Conférence Sainté Trinite du Patriarcate de Moscou, ASBL; Екатерининский мужской монастырь, 2013. — 280 с., вкл. 16 с., илл.

По благословению Архиепископа Брюссельского и Бельгийского Симона, архиепископа Команского Гавриила, архиепископа Женевского и Западно-Европейского Михаила и в ознаменование 150-летия основания посольского Свято-Никольского храма в Брюсселе, Архив Русской Эмиграции издал двухтомник статей, очерков, документов, воспоминаний и переписки, связанных с историей Русского Православия в Бельгии.

Впервые материалы для публикации собраны представителями всех трёх русских юрисдикций: Русской Православной Церкви, Русского экзархата Западной Европы Константинопольского Патриархата и Русской Православной Церкви Заграницей. Вместе эти материалы представляют собой самый полный в настоя-

щее время обзор жизни русских православных приходов в Бельгии со времени основания в 1862 году посольского Свято-Никольского храма в Брюсселе до 2013 года.

В первый том вошли статьи и очерки, во второй том — документы, воспоминания и переписка, посвящённые истории православных храмов в различных городах и провинциях Бельгии, а также людям, вершившим эту историю: архипастырям, клирикам и прихожанам, внёсшим свой вклад в организацию и развитие приходской жизни и распространение русского православия в стране.

В оформлении двухтомника использованы фотографии из фондов АРЭ, архива Центра русской культуры при Amherst College (США) и личных архивов. На лицевой стороне переплёта первого тома воспроизведён образ «Богородица — всех русских в изгнании Заступница» (иконописец Р. Лукин). На лицевой стороне переплёта второго тома, воспроизведён образ святителя Иоанна Шанхайского (Максимовича, 1896–1966), в 1951–1962 годах архиепископа Брюссельского и Западноевропейского Русской Зарубежной Церкви.

Михаил Васильевич Любовин

Воспоминания донского казака

Главный редактор: *протоиерей Павел Недосекин*
Редактор– комментатор: *Е.Н. Егорова*
Литературная подготовка текста и дизайн: *Е.Н. Егорова*
Технические редакторы: *В.Н. Киселева. Н.Л. Максимова*
Корректор: *Бахтиярова О.С.*

В оформлении использованы фотографии из личного архива С.М. Любовина.

На лицевой стороне переплёта — фото М.В. Любовина (Брюссель. 1934 г.)

Сдано в набор 10.05.2014. Подписано в печать 31.10.2014.
Формат 60х90/16. Гарнитура «Bookman». Усл. печ. л. 14.
Тираж 1000 экз.

Ассоциация Святой Троицы Московского Патриархата
(Conference Sainte Trinite du Patriarcat de Moscou. ASBL.
рег. номер 0477.585.735). Rue Leon Lepage 33–35, 1000 Bruxelles.
Belgique. Тел. 8–10–322–513–51–13. http://www.podvorje.com.
podvorje@yahoo.com. el–nik–egor@mail.ru.

Екатерининский мужской монастырь
142700. Московская обл., г. Видное–2. Петровский проезд.
Тел. (495) 541–22–54. (495) 549–74–94.
http://www.ekaterinamon.ru. ekaterinamon@mail.ru

Заказ № 7336

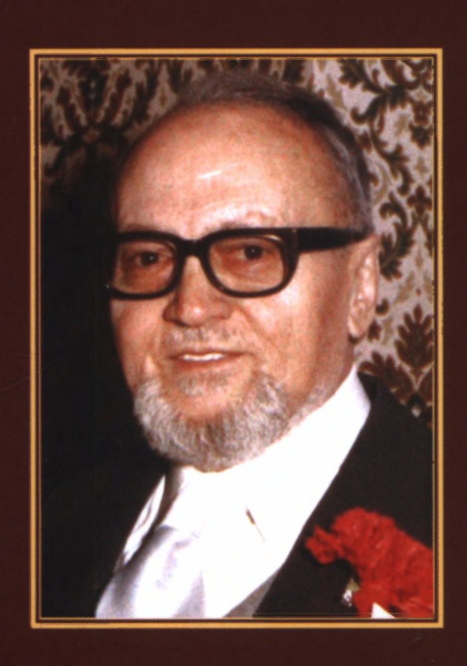
Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93
www.oaompk.ru, www.оаомпк.рф тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685

ISBN 978-5-904685-11-9

9 785904 685119


АРХИВ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ
БРЮССЕЛЬ


АРХИВ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ
БРЮССЕЛЬ



Михаил Васильевич Любовин (1900–1995), донской казак, уроженец станицы Константиновской, выпускник Новочеркасской военно-фельдшерской школы (1919), служил фельдшером в Добровольческой армии с 1917 года.

В 1920 году М.В. Любовин эвакуировался из Севастополя. В 1921–1924 годах проживал в Сербии, работал в больнице, в 1924–1927 годах жил во Франции, где учился на медицинском факультете Сорбонны. Получив диплом фельдшера, в 1927–1934 годах работал по специальности в Конго, в 1938–1960 годах владел одной, затем двумя небольшими кофейными плантациями.

В 1961 году после получения Демократической Республикой Конго независимости М.В. Любовин, потеряв своё имущество в Конго, переехал с семьёй в Бельгию, жил в Брюсселе, в 1961–1965 годах служил провизором в аптеке до выхода на пенсию.

Мемуары М.В. Любовина отражают точку зрения широкого круга рядовых военнослужащих Белой армии и представляют несомненный интерес как для специалистов-историков, так и для широкого круга читателей в России и за рубежом.